

АЛЕКСАНДР МОВЧАН

КАК МЫ ЭТО ДОПУСТИЛИ

АНКЛАВ 84

ПРАВДУ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ НЕКОМУ.

Открытие колоссальных залежей
Однако у технологии оказалась теня
Что пошло не так
Поднявшую волну, преследующая веру пост
Радиоактивные продукты пойдутся на долю
Южном полушарии, фактически
традиционный фон росе
материала катастрофа
кто несет ответственность

СЕКРЕТНО

РОЛЬ

18+

Александр Мовчан

Анклав 84

«Автор»

2026

Мовчан А. Ю.

Анклав 84 / А. Ю. Мовчан — «Автор», 2026

В подземном бункере Хибинских гор человечество усохло до восьмидесяти четырёх человек — ровно столько, сколько способна прокормить система. Выжившим присвоены номера, связанные с определёнными профессиями, а их жизням — огни на Стене Жизни; закон бункера прост и беспощаден: чтобы родился один, прежде должен умереть другой. Александр под номером двадцать семь — следователь и хранитель этого порядка, и он верит в него, пока верит, что иначе не выжить. Но в страже закона, как трещина в камне, растёт вопрос, на который у Анклава нет ответа: где кончается выживание и начинается жизнь, и остаётся ли человеком тот, кого свели к номеру. Когда система отнимает место, отведённое его собственному нерождённому ребёнку, охранять её больше нельзя — и нужно решить, как далеко он готов пойти и кем станет.

© Мовчан А. Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	6
Часть первая. НЕНАВИСТЬ	13
Глава 1. Когда приходит закон	13
Глава 2. Жизнь в двухстах метрах под землёй	19
Глава 3. О чём рассказывают стены	28
Глава 4. Вся жизнь — урок	38
Глава 5. Лазарет	46
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Александр Мовчан

Анклав 84

Александр Мовчан

АНКЛАВ 84

роман

*Под ним — лазурь, вокруг — немой простор.
Мир стал далёким, крохотным и зыбким.
Он к солнцу обратил горящий взор,
Встречая жар восторженной улыбкой.
Как сладок вкус неведомых свобод!
Отринуты извечные запреты.
Безумец покоряет небосвод,
Пьёт жадно искры истинного света.
Ему казалось — всё земное прах,
Он равен тем, кто правит над мирами.
Он нёсся ввысь на восковых крылах,
Играя с первозданными ветрами.
Но выси холодны к безумству птиц,
Там ярый свет не ведает прощенья.
Струится воск вдоль выступов ключиц,
Как скорбный знак грядущего паденья.
Он больше не хозяин высоты —
Всего лишь плоть, летящая в пучину.
Рассыпался хрусталь его мечты,
И канул, увлекаемый стремниной.
Удел людей — положенный черёд,
Покой и тень родимого чертога.
Кто выше меры крылья распахнёт —
Тому во мрак проторена дорога.*

Пролог

Всё началось с глобального потепления.

Да. Именно с него — с того, о котором учёные кричали ещё в моём детстве, в нулевые и десятые годы века, когда «апокалипсис» был метафорой, а не прогнозом погоды. Они говорили с трибун, с экранов, со страниц журналов, которых никто не открывал. Мы слушали. Кивали. Подписывали петиции — между утренним кофе и вечерней лентой. А потом включали кондиционер на полную и летели через полмира в отпуск, оставляя в небе инверсионные следы: белые швы на синей ткани, которую сами же, стежок за стежком, перешивали в саван.

Для большинства из нас потепление было словом из новостей. Оно случалось где-то там — в Арктике, в Антарктике, на островах с произносимыми названиями, откуда чужие люди уходили от наступающей воды. Нам оно не мешало: ни строить карьеру, ни откладывать детям на учёбу, ни выбирать, какую взять машину. Фон. Нестройный хор, изредка прорывавшийся слишком жарким июлем или бесснежным январём. Мы морщились и листали дальше.

Так продолжалось, пока вечная мерзлота Гренландии не отступила на сотни километров к северу — и не обнажила то, что миллионы лет пролежало подо льдом, в абсолютной тишине геологического сна. То, что мы сперва приняли за спасение. С той же слепой радостью, с какой утопающий хватается за плывущее бревно — не замечая, что бревно несёт против течения.

Январь 2032 года.

Совместная китайско-канадская экспедиция в долине реки с непривычным для русского уха названием — Корлорторсуак. Семнадцать человек в оранжевых куртках посреди бесконечной белизны. Их интересовали минералы, динамика тающего щита, структура породы — рутинная разведка, одна из десятков, о которых пишут в отчётах мелким шрифтом и наутро забывают. Керн, поднятый с семидесяти метров, выглядел невзрачно: серо-жёлтый цилиндр, похожий на обломок старой штукатурки. Но спектрометр показал не просто породу. Он показал наше будущее.

Монацит — $(\text{Ce,La,Nd,Th})\text{PO}_4$. Фосфат церия, лантана, неодима и тория. Около восьмисот тысяч тонн редкоземельной руды, три миллиарда лет пролежавшей в промёрзшей гренландской земле. Главным её сокровищем был торий-232 — до десятой части всей массы. Торий — не уран; сам по себе он не держит цепную реакцию, как спичка не способна поджечь себя сама. Но он — плодородная почва, из которой можно вырастить топливо. Найденного хватило бы, чтобы кормить энергией всё человечество столетиями: каждый город, каждый завод, каждый фонарь на каждой забытой богом дороге.

2033–2035 годы.

Пробная добыча. Китайская национальная ядерная корпорация извлекла первые десять тысяч тонн монацита, и руда пошла на переработку — по технологии, отлаженной ещё в сороковых годах прошлого века.

Концентрированная серная кислота при двухстах пятидесяти градусах вскрывала фосфатную решётку — так хирург вскрывает грудную клетку — и высвобождала торий сульфатом, $\text{Th}(\text{SO}_4)_2$. Потом щёлочь, гидроксид натрия, осаждала его рыхлыми белыми хлопьями; осадок фильтровали, промывали, прокаливали. Кальцинация при тысяче градусов выжигала всё лишнее, оставляя оксид тория, ThO_2 , чистотой девяносто девять и девять десятых процента. Белый порошок, на вид неотличимый от мела. Безобидный, как тальк на детской ладони. Только в каждой его пылинке дремала энергия звезды.

Этот порошок загружали в экспериментальные жидкосольевые реакторы Шанхайского института прикладной физики. Расплав фторидных солей — $\text{LiF-BeF}_2\text{-ThF}_4$, — разогретый до семисот градусов, тёк по замкнутому контуру, как расплавленное золото по жилам рукотвор-

ного вулкана. Там, внутри, торий-232 ловил нейтрон и становился протактинием-233; протактиний отдавал электрон и обращался ураном-233. Делящимся. Топливом. Энергией — огромной и почти дармовой.

Один килограмм ториевого оксида давал двадцать четыре миллиона киловатт-часов. Чайная ложка вместо железнодорожного состава; грузовик белого порошка вместо нефтяного танкера в четверть километра длиной. Эффективность, о которой ядерщики грезили десятилетиями, стала явью за считанные годы.

Нефть подешевела на сорок процентов. Фьючерсы на Brent летели вниз так, что биржи не успевали останавливать торги; нефтяные монархии Залива одна за другой объявляли о «диверсификации экономики» — как обречённый больной объявляет, что решил заняться спортом. Мир переступал порог новой эры, и порог этот был устлан белым порошком: безобидным на вид, но обладавшим почти фантастической мощью.

2036–2040 годы.

Эра процветания — так её называли потом, задним числом, с горечью, с какой вспоминают предсмертную эйфорию.

Десять тысяч реакторов раскинулись по планете: от набережных Шэньчжэня до окраин Найроби, от канадских прерий до бразильских фавел. Пятьдесят тысяч тонн монацита в год уходило из гренландской земли, и сухогрузы несли его через Атлантику — как когда-то галеоны несли золото, с той же уверенностью в собственной избранности. Нью-Йорку хватало десяти тонн топлива в год. Десять тонн — два внедорожника на весах — чтобы крутить турбины, питать небоскрёбы, жечь рекламу над Таймс-сквер.

Полмиллиарда человек в Африке и Азии впервые увидели электрический свет — не на чужом телефоне, а у себя дома: лампочку под потолком хижины, при которой ребёнок дочитывал букварь после заката. Цены на энергию рухнули на треть и падали дальше. Нефть и уголь, ещё вчера правившие миром, отправились в музей, к каменным топорам. Электромобиль стоил дешевле велосипеда. Десять миллионов рабочих мест. Зарплаты втрое выше. Выбросы углекислого газа — на двенадцать процентов ниже. Мировой ВВП за четыре года прибавил пятую часть. Экономисты говорили о «сингулярности благоденствия», политики — о «золотом десятилетии», а люди просто жили. Так, как мечтали жить их деды.

Казалось, мы победили. Победили дефицит, грязь, климат — саму природу с её скупостью и капризами. Мы строили новые города, летали на электролётах, а искусственный интеллект, разжиревший на дешёвой энергии, подбирал нам диеты и сочинял музыку к вечернему бокалу вина.

Мы были богами. Маленькими, самодовольными богами.

Пока не вспомнили, что у энергии нет морали. Что свет, заливающий города, можно обратить в свет, их выжигающий.

Военные аналитики в Пентагоне и штаб-квартире НАТО присматривались к шанхайским отчётам ещё с тридцать шестого. Их не занимала экономика. Не занимали и счастливые дети, читающие буквари при свете ториевой лампы. Их занимал побочный продукт.

Уран-233, нараставший в мирных реакторах — побочный, как стружка на станке, — оказался идеальной начинкой для нового термоядерного оружия. Компактного. Чудовищного. В лабораториях Лос-Аламоса, где стены ещё помнили тень Оппенгеймера, сделали расчёты — и убедились: на этом изотопе можно собрать двухступенчатый заряд весом в полтонны, дающий от пятидесяти до ста мегатонн. В два-пять раз мощнее хрущёвской «Царь-бомбы», которая при той же мощности весила двадцать семь тонн и не лезла ни в одну шахту. Новый заряд входил в головную часть обычной межконтинентальной ракеты — как патрон в обойму.

Конструкция была по-своему изящна. Первичный плутониевый шар, обжаты взрывчаткой, давал поток нейтронов; нейтроны сжимали вторичный узел — уран-233 в литий-дейтериевой оболочке; рождённый из лития тритий поджигал синтез, а рентген первой степени доби-

вал вторую до сверхкритичности. Физика — безупречная. Инженерия — безукоризненная. Мораль — отсутствующая.

Если есть способ обратить силу в оружие, его найдут. Всегда. Это не закон физики. Это закон человека.

Так появился «Тор-1».

Март–июнь 2040 года.

Заряд собрали. Полтонны металла и безумия. Тайный подземный тест с урезанной навеской — пять килограммов урана-233 — дал ровно пять мегатонн. Всё сошлось. Генералы остались довольны, учёные получили премии, протоколы — подписи.

15 июля 2040 года, 14 часов 23 минуты по Гринвичу.

Подводное испытание в море Росса, у восточноантарктического шельфа. Глубина — пятьсот метров. Официально — «проверка новой энергетической установки»: Договор об Антарктике всё ещё действовал, и его всё ещё было кому нарушать. Расчётный выход — те же пять мегатонн. Управляемо. Просчитано. Безопасно. Очередная строчка в отчёте, очередная ступенька в чьей-то карьере.

Они думали, что держат огонь в руках.

Они не знали, что поднесли его к пороховому погребу.

Первые микросекунды всё шло по сценарию: плутониевый шар достиг критичности, нейтронный поток сжал урановый узел, литий-дейтериевая оболочка вспыхнула термоядерным пламенем. Пять мегатонн. Сто миллионов градусов в точке подрыва. Давление в триллион паскалей. Как в учебнике.

А потом учебник кончился.

Наблюдательный пост в сорока километрах от эпицентра — бронированный, рассчитанный на штатные пять мегатонн — ударная волна стёрла мгновенно: людей, приборы, бетон, расчёты.

Лёд испарился в радиусе четырёх километров. Полусфера кипящего пара объёмом в миллиард кубометров вырвалась столбом на два километра в высоту. Термическое излучение оплавало панцирь в радиусе тридцати. Шельфовый ледник Росса — величиной с Францию — пошёл трещинами, как витрина под кувалдой. Подводная волна, идущая со скоростью полутора тысяч метров в секунду, рождала кавитационные пульсации — толчок за толчком, каждые шесть-десять секунд — и выбросила на поверхность цунами в десять-двадцать метров. Оно разошлось по Южному океану кругами, как от брошенного камня. Только камень весил пятьдесят мегатонн, а пруд был размером с полушарие.

Спутники зафиксировали сперва вспышку, потом — купол. Багровый, как воспалённая рана, он встал над точкой взрыва и не расходился. «Кровавый купол» — так его окрестили наутро. Радон-222, поднимавшийся из разлома, ионизировал верхние слои атмосферы, и небо над Антарктидой налилось цветом свернувшейся крови. Его свечение было видно из космоса.

Через три часа сейсмографы всего мира отметили толчок магнитудой восемь и семь. Эребус, и без того беспокойный вулкан ледяного континента, удвоил выбросы. Антарктида принялась терять лёд быстрее всякой нормы — на сотни квадратных километров в год сверх прежней, уже катастрофической убыли.

Но самым страшным было не это.

Самым страшным было то, что радиация повела себя не по правилам. Она не рассеивалась. Не затухала. Не оседала. Она расходилась — цеплялась за воздушные потоки с упорством, какого не предсказала ни одна модель, и шла с ветром, как семена чертополоха. Только вместо сорняков всходили опухоли.

Уже к концу июля проступили первые знаки — и снимки облетели сети за часы. Пингвины. Императорская колония на мысе Крозье — тысячи птиц, чьи предки пережили не один ледниковый период, — вымирала. Но прежде чем умереть, они светились: оперение, созданное

эволюцией держать антарктический ветер, в сумерках наливалось мертвенной, гнойно-зелёной фосфоресценцией. Цезий-137, осевший в кератине пера, — предполагали учёные. Колонии гибли целиком. Тела покрывались опухолями с кулак.

Мир содрогнулся. Люди возмущались, зоозащитники требовали «немедленных мер», политики «выражали глубокую обеспокоенность». Но это по-прежнему было там. В Антарктике. На краю света — далеко от наших кухонь, кабинетов, детских площадок. Между нами и светящимися пингвинами лежал целый океан.

Океан оказался недостаточно широк.

Август–сентябрь 2040 года.

Веллингтон. Серебряный дождь. Капли блестели на солнце, как ртуть — красиво, почти волшебно, — и оставляли на коже химические ожоги. Детей, игравших под дождём, увозили в ожоговые с волдырями на ладонях и лицах; матери обжигались, стаскивая с них мокрую одежду. Метеорологи не понимали, откуда пришла туча. Токсикологи — почему ожоги не заживали неделями.

Сидней. За шесть недель — пятнадцать процентов прироста рака щитовидной железы. Вчера ещё полупустые онкоклиники превратились в конвейеры; на УЗИ стояли по четырнадцать часов. Что-то перекрывало щитовидке доступ к йоду — и клетки, потеряв узду, принимались делиться без счёта. Рак снова стал эпидемией, как встарь.

Пунта-Аренас, южная оконечность Чили. По ночам люди выходили на улицы и стояли, запрокинув головы, под «танцующими огнями» — волнистыми лентами зеленоватого и лилового света, что текли по небу северным сиянием, сползшим на тысячи километров к югу. Только это была не аврора. Это был радон: газ ионизировал воздух, и азот с кислородом отзывались свечением. Красиво. Завораживающе. Смертельно. Каждый вдох под таким небом вносил в лёгкие крупицу альфа-излучателя, и тот оседал на стенках альвеол и прожигал их — клетку за клеткой.

Патагония. Овцы теряли ягнят — выкидыши сотнями, тысячами, на фермах, где овца была единственным, что стояло между семьёй и голодом. Ветеринары вскрывали мёртвые плоды и находили скелеты, похожие на стеклянную бижутерию: хрупкие, ломкие, прозрачные. Стронций-90, неотличимый для тела от кальция, встраивался в кости зародышей вместо него — и кость делалась радиоактивной трухой, не державшей собственного веса. Ягнята ломались, не успев родиться.

Кое-кто из нас уже тогда понял: катастрофа не локальна. Она системна. Как сепсис: сперва один очаг, потом заражение крови, потом отказ всех органов разом. Планета заболела. Антибиотика у нас не было.

Октябрь–декабрь 2040 года.

Яд пересёк экватор. Он не знал границ, не признавал ни виз, ни стен, ни армий, ни богатства, ни нищеты — шёл с ветром и водой, ровно и неотвратно.

В Амазонии биологи находили лягушек с шестью пальцами на каждой лапе. Казалось бы, мелочь, аномалия. Но шестипалых были не десятки и не сотни — тысячи, в каждом обследованном водоёме. ДНК мутировала быстрее, чем выходили статьи. Лёгкие планеты дышали отравой и гнали цезий, стронций, радон всё глубже в пищевые цепи.

В Индии цезий-137 нашли в рисе — больше ста беккерелей на килограмм, десятикратное превышение. Рис — то, чем жив миллиард людей. Заражённые партии жгли, но новый урожай тянул отраву из почвы, из воды, из дождя. Крестьяне Бихара и Уттар-Прадеша ели этот рис, потому что другого не было. Ели — и умирали, медленно, по клетке, обращаясь из людей в ходячие рентгеновские снимки.

Фоновая радиация в столицах поползла вверх. Сперва на сотые доли микрозиверта в час, потом на десятые. Калифорния, Лондон, Париж, Берлин, Токио — города, ещё вчера сиявшие

огнями «эры процветания», превращались в огромные рентгеновские кабинеты без стен и дверей, и пациентом было всё человечество.

В Индонезии к тому времени насчитывали десять тысяч погибших. Десять тысяч — пять цифр, которые пишутся за секунду и так же быстро забываются. За каждой — человек: обожжённые слизистые, стремительный рак, удушливый кашель с кровавой пеной, когда альфа-частицы радона рвут лёгкие изнутри. Они захлёбывались собственной кровью на койках, которых не хватало, под капельницами, в которых не было спасения.

15 ноября 2040 года.

Официальное признание. Слово «эвакуация» произнесли те же рты, что ещё накануне твердили «ситуация под контролем». Приказы. Списки. Хаос — организованный, задокументированный, стерильный хаос, который в бумагах называли «плановым перемещением населения».

Меня, как и многих в Мурманской области, определили в бункер в Хибинах. Наследие холодной войны: гранитно-бетонный комплекс в шесть уровней, врезанный в скалу. Построен в шестидесятых, законсервирован в девяностых. Стены в три метра, армированные сталью. Две двери по восемь тонн, на двенадцати электромагнитных болтах. Четыре вентиляционные шахты с фильтрами против радиации, газа и биологической дряни. Всё это мы рассмотрели после. В ту минуту мы видели только спины впереди идущих и слышали только, как за спиной, один за другим, входят в пазы засовы.

Четыреста тридцать семь человек. Четыреста тридцать семь спасённых. Мы думали — ненадолго. На несколько месяцев. Пересидим пик, пока осядет пыль, пока наверху что-нибудь придумают, пока мир придёт в себя.

Тогда мы ещё не знали двух вещей.

Первое — как нам повезло с породой. Хибины сложены не одним гранитом: их недра прошиты жилами редких титаносиликатов — ситианкита, иванюкита. Эти минералы оказались идеальным щитом. Ситианкит вбирал цезий-137 с эффективностью выше девяноста девяти процентов; иванюкит намертво связывал стронций-90; радон, сочась сквозь толщу, застревал в каналах кристаллов, как муха в янтаре. Наш бункер не был чудом инженерной мысли. Он был подарком геологии — капризом тектоники, сложившимся за миллиард лет до нас и терпеливо ждавшим своего часа.

Второе, чего мы не знали: пыль не осядет. Никогда.

Ноябрь–декабрь 2040 года.

Восемьдесят девять смертей за два месяца. Каждая — отдельная трагедия, слипшаяся с прочими в статистику, как капля с каплей в лужу.

Лучевая болезнь — её внесли с поверхности: на коже, на одежде, в лёгких. Кто входил последним, кто дольше простоял под открытым небом, тот и уходил первым. Тошнота, кровоточащие дёсны, волосы на подушке — а потом отказывал костный мозг, и тело тихо истекало кровью внутрь себя, без единой раны.

Удушье — вентиляция, рассчитанная на мирные времена, не тянула четыре сотни пар лёгких. К концу первой недели углекислый газ поднялся до двух процентов. Люди задыхались во сне, не успев проснуться; их находили утром — синюшными, с открытым ртом и выражением не боли, не страха, а какого-то бесконечного недоумения.

Травмы — подземные толчки обрушили часть четвёртого уровня, того самого, где собирались разбить гидропонные фермы. Бетонные блоки в тонну весом легли на тех, кто разгружал ящики с семенами. Шансов у них не было.

Январь 2041 года.

Ещё сто двенадцать.

Инфекция — там, где четыре сотни людей дышат одним воздухом, пьют одну воду, держатся за одни поручни, зараза идёт со скоростью слухов. Кишечная палочка, переродившаяся под фоновым излучением, прошла по нижним уровням, как коса по траве.

Голод — припасы, отмеренные с запасом, таяли на глазах. Тысяча четыреста килокалорий в сутки на человека — если делить поровну. Но кто сказал, что делили поровну? Сильный отбирал у слабого, здоровый — у больного, молодой — у старого. Не от злобы. От ужаса. Когда до голодной смерти остаётся неделя, мораль перестаёт быть доводом.

Насилие — неизбежный спутник голода. Первое убийство случилось на четвёртый день января, из-за банки тушёнки. Второе, через два дня, — из-за места у вентиляции, где воздух почище. Третье — уже на следующий. Потом считать перестали.

Отчаяние — единственный вирус, против которого не бывает карантина.

Нужна была твёрдая рука. Железный порядок — пусть ценой свободы, той самой, что наверху уже всё равно никому не принадлежала, потому что никакого «наверху» больше не было.

20 января 2041 года.

Появился Правящий Совет. Пятеро — не избранных (голосовать было некому: половина живых не вставала с коек), а попросту необходимых. Тот, кто знал, как устроены системы. Тот, кто умел зашивать раны. Тот, кто из камня и воды растил еду. Тот, кто умел записывать и хранить. Тот, кто умел принуждать.

Главный инженер. Главный врач. Главный агроном. Координатор-архивариус. Глава вопорядка.

Пятеро взяли на себя решения, принимать которые не хотел никто. Решения, от которых выворачивает. После которых не спят — не от совести, а от знания, что завтра придётся решать снова.

Так пришёл авторитаризм. Не от идеи, не от убеждения — от нужды. Как отнимают гангренозную ногу: не из жестокости, а чтобы выжило тело. Мы перестали быть толпой перепуганных беженцев. Мы стали Анклавом.

15 февраля 2041 года.

Последний голос снаружи.

Коротковолновый приёмник, настроенный на частоту гидрометслужбы, вдруг ожил. Шип, треск — и голос: мужской, молодой, вымотанный. Сбивчивый доклад о «зелёных аврорах» над Арктикой, о нейтронном потоке, что на полтора Чернобыля превысил всё мыслимое. Голос захлёбывался помехами. Потом — слово, оборванное на середине. Потом — белый шум.

И всё.

Тишина.

Абсолютная.

Не та, в которой отдыхают. Та, в которой тонут. Тишина, что гудит в перепонках громче любого взрыва и заполняет череп изнутри, как цемент — опалубку. Тишина, которая значит: там, за тремя метрами бетона и восемью тоннами стали, за шахтами и горой, возможно, не осталось никого, кто мог бы заговорить.

Мы слушали эфир ещё три дня. Потом неделю. Потом месяц. Ни голоса, ни морзянки, ни даже помех. Чистая, стерильная, мёртвая тишина на всех частотах.

Февраль–апрель 2041 года.

Ещё сто пятьдесят два.

Люди уходили сами — кто-то не выдерживал тишины, кто-то темноты, кто-то простого знания, что завтра будет как сегодня, и так до конца. О способах я писать не стану. Скажу только, что лифтовая шахта на шесть уровней отзывалась на каждый такой уход гулким, долгим ударом — как колокол, по которому некому было звонить.

И — рациональная эвтаназия. Решения Совета, принятые за закрытой дверью и объявленные ровным голосом координатора. Те, кто был слишком плох, чтобы поправиться. Те, кто потреблял больше, чем мог отдать. Те, чьё дыхание ставило под угрозу дыхание остальных. Их не убивали. Их — «оптимизировали». Азотно-кислородная смесь вместо воздуха. Сон без пробуждения.

Нас осталось восемьдесят четыре.

Восемьдесят четыре — это предел. Больше не прокормят ни гидропоника, ни аквапоника, ни остатки консервов. Ни одним ртом больше. Потому что каждый лишний — это минус двадцать килокалорий из чужой тарелки, а через полгода эти двадцать килокалорий обернутся падением веса, провалом иммунитета, эпидемией, общей смертью.

Арифметика. Простая, безжалостная арифметика выживания. Мы выучились считать людей, как считают запас: в единицах потребления и выработки, в калориях и кубометрах кислорода, в граммах белка и миллилитрах крови. И там, где уравнение не сходилось, мы вычитали.

Это было уже не выживание. Это было существование — рутина, выверенная до последней калории и последнего кубического сантиметра воздуха, рутина, шаг в сторону от которой грозил гибелью не человеку, а виду. Потому что мы, похоже, и были последними.

Каждому из восьмидесяти четырёх достался порядковый номер — от первого до восьмидесяти четвёртого. Не имя. Не личность. Место. Первая пятёрка — Совет; дальше по значимости — инженеры, врачи, охрана, химики, гидропонщики и все прочие, до самого восьмидесяти четвёртого.

Номер — не оскорбление. Номер — координата. Точка на карте выживания, которая говорит: вот твоё место, вот твоя работа, вот зачем тебе позволено дышать. У кого были навыки — те работали. У кого не было — учились, хотели они того или нет; благо учебная база в бункере осталась отменная. Делать полагалось лишь то, чего требовал Анклав, и за этим следили органы правопорядка — людей в них было заметно больше, чем в любой другой профессии. Контроль был необходим. Выбора не было. Выбор — роскошь мирного времени, а мирное время кончилось в тот июльский день, когда антарктический лёд стал паром, а небо — кровью.

Чтобы держать под счётом саму жизнь, бункерные технари перебрали старые фитнес-браслеты. Теперь это не модная безделушка — это ошейник нового мира. Браслет круглые сутки транслирует твои показатели на огромный экран в главном зале. Стена Жизни — так её прозвали. Восемьдесят четыре огонька на чёрном поле. Они говорят, что мы ещё живы. Или стараются нас в этом убедить.

Снять браслет нельзя. Обмануть его нельзя. Любая попытка — тяжкое преступление. Не потому, что Совет жесток, а потому, что невидимый человек — непросчитанный. Непросчитанный — непредсказуемый. Непредсказуемый — опасный. А опасность одного — это смерть всех.

Так и живём, цикл за циклом, изредка сверяясь с огоньком напротив своего номера. Мерцает — значит, ты ещё есть. Значит, ещё нужен. Так требует Анклав.

С тех пор минуло, по нашим прикидкам, тридцать лет. Тридцать лет замкнутых циклов, нелепых смертей и выверенных рождений.

И всё же — наперекор арифметике, наперекор радиации, наперекор тишине в эфире, наперекор всему, что мы сделали с собой и с миром, — я верю. Верю слепо, упрямо, безрассудно — так, как способен верить лишь тот, кто живёт в бетонном гробу на двухсотметровой глубине под мёртвой землёй.

Я верю, что мы выживем. И что однажды восемьдесят четыре огонька на Стене Жизни погаснут — не оттого, что мы умрём, а оттого, что нам больше не нужно будет пересчитывать друг друга, чтобы убедиться: мы ещё люди.

Часть первая. НЕНАВИСТЬ

Глава 1. Когда приходит закон

Цикл 33 098

Комната размером примерно шесть на восемь метров казалась ещё меньше из-за низкого потолка и серо-зелёного цвета стен — специальная краска, поглощающая свет, чтобы не слепить глаза при долгом чтении под светодиодными панелями. Свет здесь не менялся никогда: ни тёплого закатного оттенка, ни мягкого утреннего — только постоянный, холодный. Хирургически точные 4000 кельвинов, как скальпель, которым вскрывают не рану, а саму идею темноты.

Вдоль дальней стены тянулся металлический стеллаж — шесть полок, каждая прогнулась под тяжестью учебников и распечаток, сложенных в стопки с маниакальной аккуратностью. Большинство страниц давно пожелтело: бумага впитывала влагу быстрее, чем рециркуляторы успевали её забирать, и текст на некоторых листах расплывался, буквы теряли контуры, словно слова пытались сбежать с поверхности. Учебники были потрёпаны так, как могут быть потрёпаны только книги, через которые прошли сотни рук — корешки истончились до нитей, обложки залоснились от прикосновений. На нижней полке стояли три толстых тома «Основ ядерной физики» Иродова — единственные книги, к которым никто не прикасался без крайней необходимости. Их берегли, как реликвии. Потому что перепечатать было не на чем и некому.

В углу — вентиляционная решётка размером с ладонь взрослого мужчины. Из неё доносился низкий, едва уловимый гул — басовая нота, которая не прекращалась ни на секунду вот уже три десятилетия. Дыхание бункера. Дыхание спящего гиганта, в чьём каменном чреве копошились восемьдесят четыре человеческих существа, как бактерии в кишечнике левиафана. К этому звуку привыкали, как привыкают к собственному сердцебиению, — его переставали слышать, но стоило ему измениться хотя бы на полтона, и каждый обитатель Анклава вздрагивал, как вздрагивает спящий от внезапно наставшей тишины.

Запах — старая бумага и лёгкий привкус озона от бактерицидного генератора, работавшего непрерывно. Озон убивал споры плесени, которая была здесь не просто неприятностью, а врагом — тихим, терпеливым, невидимым. Плесень пожирала бумагу. Бумага хранила знания. Знания — единственное, что отделяло Анклав от пещеры дикарей.

Молодой человек среднего телосложения сидел за столом — единственным в комнате, привинченным к полу четырьмя болтами, — слегка сгорбившись. Не от усталости, а от привычки: потолки в бункере были рассчитаны на средний рост шестидесятих годов прошлого века, и любой мужчина выше ста семидесяти пяти сантиметров вынужден был чуть сутулиться, проходя через дверные проёмы, пока это не въедалось в позвоночник, как ржавчина в сталь.

Русые волосы средней длины, зачёсанные назад, чуть жирные у корней — частое мытьё было непозволительной роскошью. Два литра воды на человека в сутки — на всё: питьё, гигиену, бритьё. Бритьё требовало воды и лезвий. Лезвия требовали стали. Сталь требовалась инженерам. Поэтому короткая, аккуратно подстриженная растительность покрывала его угловатое лицо — не по моде прошлого мира, а по экономике нового. Лицо это ещё не успело обрасти морщинами, но уже утратило мягкость юности — как утрачивает мягкость глина, побывавшая в печи. Карие глаза, спокойные, почти неподвижные — как поверхность воды в колодце, где не бывает ветра, — смотрели на стопку листов, которую он только что отложил на край стола.

На левом запястье — идентификационный браслет. Пластиковый корпус, потемневший от пота, с крошечным экраном, на котором мерцало число. Двадцать семь. Номер, который

заменял фамилию в документах, должность в субординации и цену в уравнении выживания. Номер, принадлежавший профессии следователя, чья функция заключалась в том, чтобы находить трещины — в стенах, в показаниях, в людях.

Последняя страница рукописи всё ещё лежала открытой. Почерк — мелкий, убористый, с характерным наклоном влево, выдающим человека, учившегося писать правой рукой, но думающего левым полушарием. Чернила — самодельные, из сажи и рыбьего клея, чуть расплывшиеся на влажной бумаге. Последняя строка: «...чтобы убедиться: мы всё ещё люди».

Он перечитал её трижды. Не потому, что не понял. Потому что пытался понять, зачем человек тратит свободные циклы на то, чтобы записывать историю, которую все и так знают. Историю, которая не приносит калорий, не производит кислорода, не латает прорвавшуюся трубу. Историю, которая — с точки зрения протокола — является нецелевым расходом ресурса. Бумага — дефицит. Чернила — дефицит. Время — дефицит. Всё — дефицит. Кроме смерти. Смерти всегда было в избытке.

Он не вздрогнул, когда дверь отворилась.

Просто поднял взгляд — медленно, как поднимает голову рептилия, учуявшая движение. В комнату вошёл старик.

Высокий — когда-то, вероятно, выше ста восьмидесяти, — но годы и потолки согнули его, как сгибает ветер одинокое дерево на скале. Худой, почти прозрачный: кисти рук, торчавшие из рукавов пиджака, напоминали пучки хвороста, перевитые синими верёвками вен. Морщинистое лицо было картой — не географической, а хронологической. Каждая складка — год. Каждая борозда — потеря. Глаза — серые, мудрые, усталые — смотрели через очки в тонкой металлической оправе. Левое стекло было треснуто по диагонали: тонкая линия пересекала линзу от верхнего угла к нижнему, как молния на замедленной съёмке. Он не заменил его. Запасных оправ не было. Запасных линз не было. Запасного мира не было. Трещина преломляла свет, и левый глаз старика видел реальность чуть искажённой — впрочем, подумал следователь, возможно, именно так и следует видеть реальность, в которой они жили.

Коричневый пиджак — из тех, что шили на фабриках «старого мира». Ткань, выдавшая солнечный свет, свежий ветер и химчистку. Ткань, которая помнила другую жизнь. Швы обтрепались, локти лоснились, подкладка давно была заменена на грубую бункерную дерюгу, но пуговицы — все четыре — были на месте, а воротник — безупречно отглажен. Чем он его гладил? Нагретой алюминиевой пластиной. Каждый цикл. Педантично, ритуально, как молитву. Галстук — когда-то полосатый, теперь выцветший до почти однотонного серо-бурого, — был завязан виндзорским узлом с академической точностью. Не ради красоты. Ради памяти. Ради принципа. Ради иллюзии, что мир, в котором мужчины носили галстуки, а женщины — платья, где-то ещё существует.

Это был педагог. Номер семьдесят восемь. Корней Иванович. Семьдесят три года — по меркам Анклава, геологическая эпоха. Один из одиннадцати оставшихся, кто лично помнил «старый мир». Мир, в котором было небо.

— Александр Юрьевич, — голос у него был низкий, чуть хриловатый, но не дряблый — голос, привыкший к классным комнатам, к тишине, в которой слышно, как ученик переворачивает страницу. — Вижу, вас заинтересовала моя рукопись.

Не вопрос. Констатация. Так учитель отмечает, что ученик всё-таки открыл учебник — без похвалы, без удивления, с лёгкой удовлетворённостью.

Молодой человек аккуратно сложил листы. Выровнял стопку по краю стола — миллиметр к миллиметру. Жест, который у другого человека выглядел бы нервным тиком, у него был инструментом: любое упорядочивание внешнего мира давало ощущение контроля. А контроль — единственная валюта, имевшая здесь хождение.

— Номер семьдесят восемь, — произнёс он медленно, делая ударение на номере так, как ставят штамп на документ. Не «Корней Иванович». Номер. Координата в системе. Функция

в уравнении. — Ведение хроники — это обязанность почтенного номера четыре. Для педагога подобная... — он помедлил, и пауза была точно рассчитана, как доза препарата, — литературная деятельность представляет собой дополнительную нагрузку. Нагрузку, способную негативно сказаться на продуктивности. Протокол требует от каждого специалиста максимальной концентрации на основной функции.

Он говорил так, как говорят люди, выучившие язык не из жизни, а из инструкции. Каждое слово — на своём месте, как болт в креплении. Ни одного лишнего. Ни одного эмоционального. Слова, прошедшие фильтрацию, как воздух через NBC-мембрану: стерильные, безопасные.

Старик чуть улыбнулся. Уголки губ дрогнули — едва заметно, как дрожит стрелка вольтметра при скачке напряжения, — но глаза остались серьёзными. Он знал этого мальчика. Учил его читать — водил его пальцем по буквам в истрёпанной азбуке, единственной на весь Анклав, где буква «А» была проиллюстрирована арбузом, которого ни один ребёнок бункера никогда не видел и не увидит. Учил его писать — ставил ему руку, исправлял наклон. Учил его считать — и видел, как этот мальчик научился считать слишком хорошо. Считать людей. Считать их номера, их нарушения, их отклонения от нормы. Считать — и вычитать.

Ему было жаль. Жаль, что из мальчика, который когда-то спрашивал «а что такое арбуз?» с искренним любопытством в карих глазах, вырос человек, не желающий видеть, что за номерами — живые люди. Со своими снами, привычками и страхами. Впрочем, возможно, именно нежелание это видеть и делало его хорошим следователем. Хирург не должен любить ткани, которые режет.

— Господин следователь, — ответил Корней Иванович с лёгкой иронией, подчеркнув титул так же нарочито, как тот подчеркнул номер. Зеркальный приём — педагогический, отработанный за полвека у доски. — Это не просто литература. Это — история. Её нужно знать. Всем. Каждому из восьмидесяти четырёх. Забыть — значит повторить.

Он сделал паузу. Оглядел комнату — шесть на восемь метров серо-зелёного бетона, подземный ковчег, последний оплот в мире, отравленном людьми, которые забыли свою собственную историю. Стеллаж с пожелтевшими книгами. Вентиляционная решётка, из которой тянуло озоном и вечностью. Молодой человек за столом, прямой и неподвижный, как штык.

— И возможности для повторения, — добавил старик негромко, — у нас больше нет. Следователь не ответил сразу.

Он наблюдал. Как всегда. Угол наклона головы собеседника — два градуса вправо, лёгкая защитная поза. Движение зрачков — вниз и влево, доступ к визуальной памяти. Напряжение в жевательных мышцах — едва заметное, но достаточное, чтобы зафиксировать: старик контролирует речь. Не лжёт — но выбирает. Фильтрует. Как рециркулятор фильтрует CO₂: не всё пропускает, не всё задерживает, но процесс — непрерывный.

Александр умел это лучше, чем кто-либо в Анклаве. Читать людей. Не по словам — слова можно подобрать, как подбирают отмычку к замку. По телу. Тело не врало. Тело было старше языка на миллионы лет, и оно помнило то, что разум научился скрывать: страх, вину, ярость, правду.

— В цикл тридцать три тысячи девяносто пять, — произнёс он тем же ровным протокольным тоном, каким зачитывают показания дозиметра, — на номер восемьдесят было совершено нападение. Удар тупым предметом в затылочную область. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение средней тяжести. Субдуральная гематома. Потерпевший временно нетрудоспособен. Я провожу расследование.

Пауза. Точно отмеренная — три секунды. Достаточно, чтобы собеседник успел среагировать, но недостаточно, чтобы подготовить ответ.

— Не замечали ли вы чего-либо необычного в поведении вашего коллеги? Конфликты. Ссоры. Трения с учениками, с другими специалистами. Что угодно. И — где вы сами находились в указанный период?

Перемена темы — от рукописи к преступлению — была мгновенной. Не грубой, но и не плавной. Как переключение передачи на высокой скорости: механизм лязгнул, но машина не замедлилась.

Старик вздохнул. Медленно снял очки. Начал протирать линзы краем пиджака — привычным, автоматическим движением, отточенным до рефлекса. Большой палец правой руки двигался по стеклу круговыми движениями — по часовой стрелке, всегда по часовой, всегда три полных оборота на каждую линзу. Александр отметил это. Занёс в память. Повторяющееся стереотипное поведение — не признак лжи, но признак стресса. Или просто привычка старого человека, у которого осталось так мало привычек, что каждая стала священной.

— Денис Маратович... — начал Корней Иванович. Нарочно. Полное имя, полное отчество. Не номер восемьдесят. Не «потерпевший». Человек. С именем, которое ему дали родители. С отчеством, которое связывало его с отцом. Маленький акт неповиновения — незаметный, мирный, непреследуемый. Но акт. — Хороший специалист. Усердный. Я сам его готовил, — он надел очки обратно, трещина на левом стекле снова рассекла мир пополам. — Если чем он и мог вызвать чью-то злобу — то разве что своей требовательностью к ученикам. Он не терпел лени. Не прощал невнимательности. Я учил его — быть таким.

Старик помолчал. Затем продолжил:

— Но нападение? Нет. Определённо нет. В указанный вами цикл я вёл занятие по базовой физике. Механика Ньютона. Второй закон. Это зафиксировано в журнале учёта рабочего времени и может быть подтверждено учениками. — Он чуть наклонил голову. — Но я убедительно просил бы вас их не отвлекать. Им нужна сосредоточенность. Они — будущее Анклава. Вы это знаете, господин следователь.

Александр знал.

Ребёнок, рождённый в Анклаве, получал номер раньше, чем имя. Так было всегда — с того самого дня, когда Совет утвердил протокол воспроизводства. Рождение не было радостью. Рождение было — назначением. Вакантный номер умершего или утратившего дееспособность специалиста присваивался новорождённому, и с этого мгновения его путь был определён, как определена траектория снаряда, покинувшего ствол. Интенсивное, точечное, безальтернативное обучение — с первых дней жизни.

Будущие инженеры вентиляции ещё в пелёнках слушали записи шума воздуховодов — не колыбельные, а гул турбин. Их первыми «игрушками» были упрощённые макеты вентиляционных лабиринтов бункера: крохотные пальчики, ещё не научившиеся держать ложку, ошупывали повороты каналов, клапаны, развилки — и к четырём годам ребёнок мог с закрытыми глазами нарисовать схему воздухооборота третьего уровня. Будущие врачи играли резиновыми муляжами органов вместо кукол — мяли в руках миниатюрные сердца, лёгкие, печени, запоминая форму, текстуру, вес. К семи годам они уже различали по звуку здоровое дыхание и хрипы. Будущие химики нюхали пробирки с безопасными растворами, учась отличать кислоту от щёлочи по запаху раньше, чем по формуле.

Игры становились сложнее, постепенно и неуклонно, пока незаметно не переставали быть играми. В семь лет дети уже помогали действующим специалистам — подавали инструменты, считывали показания приборов, заучивали последовательность действий при аварии. В двенадцать — становились стажёрами. К шестнадцати — полноценными специалистами, часто превосходящими своих предшественников, потому что их предшественники учились на ходу, по обрывкам знаний и обломкам прошлого мира, а они — росли в профессии, как дерево растёт вокруг вбитого в него гвоздя: неотделимо.

Александр и сам прошёл этот путь. Его «игрушками» были карточки с лицами, на которых нужно было определить эмоцию. Его «сказками» — протоколы допросов, адаптированные педагогом для детского восприятия. Его «прогулками» — обходы коридоров с наставником, который учил его смотреть. Не видеть — видят все. Смотреть. Замечать. Царапину на

стене, которой вчера не было. Пятно на полу, которое кто-то пытался затереть. Взгляд, который задержался на секунду дольше, чем следовало.

В этот момент открылась ещё одна дверь. Пневматика зашипела, и в комнату шагнула девушка. Молодая. Лет шестнадцати на вид — хотя по «бункерным» меркам, где совершеннолетие определялось не возрастом, а переносом браслета с лодыжки на запястье, она была уже взрослой. Тёмные волосы туго стянуты в хвост на затылке — ни одной свободной пряди, ни одного лишнего штриха, и оттого открытая линия шеи, ключиц и высоких скул казалась почти вызывающей. Лицо скуластое, с чуть вздёрнутым носом и широко посаженными зелёными глазами, в которых горело то, что у большинства обитателей бункера давно погасло. Не усталость — нет. Огонь. Тот самый, который ещё не успели придавить тысячи тонн гранита и десятки тысяч циклов. И всё тело было под стать этому огню — молодое, сильное, налитое спелой женской крепостью, какую не спрятать ни под каким серым комбинезоном. Грубая форменная ткань, скроенная, чтобы стирать в людях всякую породу, на ней сдавалась: натягивалась на груди, очерчивала тугую талию и мягкую линию бёдер — и с каждым вдохом, с каждым движением выдавала больше, чем скрывала. Двигалась девушка точно и текуче, без единого лишнего жеста — как человек, привыкший к тесным пространствам, где каждый лишний жест — это локоть в чьи-то рёбра, — но в этой звериной грации было что-то, отчего взгляд цеплялся за неё и не отпускал.

— Номер двадцать семь, — произнесла она официально, но в голосе, как пузырьрёк воздуха в толще воды, всплыл лёгкий энтузиазм. Еле заметный. Но Александр заметил. Он всё замечал. — Личный кабинет номера семьдесят восемь и его рабочий стол осмотрены в соответствии с протоколом. Подозрительных предметов, материалов или нарушений складского регламента не обнаружено.

Корней Иванович нахмурился. Кустистые седые брови сошлись над переносицей, как два облака перед грозой. Он посмотрел на девушку — не как следователь смотрит на подозреваемого и не как подозреваемый — на следователя. Как учитель смотрит на ученицу, которая пришла на урок и вместо задания разобрала его стол.

— Анна... — его голос стал холоднее на градус. Ровно на столько, сколько нужно, чтобы ребёнок — нет, уже не ребёнок, формально взрослая, формально облечённая полномочиями, — поняла, что переступила черту. Тот самый голос, который, должно быть, звучал в классной комнате, когда провинившийся ученик пытался списать. — Вы обыскали мой кабинет?

Прежде чем кто-либо успел ответить, воздух рассекли три коротких гудка. Сухих, отрывистых, как стук металла о металл. Затем — низкий вибрирующий тон, длящийся ровно четыре секунды. Сигнал смены цикла.

Звук, который каждый обитатель Анклава слышал трижды в сутки — каждые восемь часов, без исключений, без переносов, без опозданий — на протяжении всей жизни. Звук, впечатанный в нервную систему глубже, чем собственное имя. Новорождённые дети вздрагивали от него в первые дни, потом переставали — как перестают вздрагивать от ударов метронома. Взрослые реагировали автоматически, мышечной памятью: кто работал — останавливался, кто спал — просыпался, кто ел — дожёвывал последний кусок и вставал. Тело знало раньше разума. Цикл кончился. Новый начался. Шестерёнка провернулась.

Суток в бункере нет. Нет дня и ночи, нет рассвета и заката, нет лунного света в окне — окон нет. Есть циклы. Восьмичасовые интервалы, сменяющие друг друга с механической неотвратимостью. Восемь часов работы. Восемь часов свободного времени — которое ты волен потратить на сон, на еду в столовой, на близость с партнёром, на чтение одного из пятидесяти истрёпанных учебников в рекреационной зоне, на тихое безумие за задёрнутой шторкой. И снова — восемь часов работы. И так — без выходных. Без отпусков. Без права на выбор.

В коридорах послышались шаги — десятки ног, шаркающих по бетонному полу. Заскрипели двери. Где-то наверху, на втором уровне, лязгнул затвор шлюза, отделяющего жилую зону от технической. Живая машина Анклава сменила передачу.

Корней Иванович выпрямился — насколько позволяли позвоночник и потолок. Взял со стола заранее приготовленную стопку книг — два учебника и тетрадь с конспектами, перевязанные обрезком электрического кабеля, который служил ему закладкой, ручкой портфеля и поясным ремнём одновременно. Экономия. Привычка. Необходимость.

— Прошу прощения, господа следователи, меня ждут дети. Пора начинать урок. Так требует Анклав.

Дверь закрылась с шипением пневматики. Шаги старика — неторопливые, чуть шаркающие — растворились в коридорном гуле. Александр смотрел на закрывшуюся створку несколько секунд. Потом повернулся к Анне.

— Номер двадцать восемь, — произнёс он без интонации. — Нам тоже пора. Нужно ещё раз осмотреть место преступления.

Анна коротко кивнула. Ни слова. Ни вопроса.

Следователи, в отличие от прочих профессий, не подчинялись восьмичасовым циклам. Их смена не определялась сигналом. Она определялась делом. Пока дело не раскрыто — смена не окончена. Анклав не прощал нераскрытых преступлений. Не из чувства справедливости. Из практичности. Каждый час, который следователь тратил на расследование, — это час, вычтенный из другой работы. Каждый день нетрудоспособности жертвы — это день, когда Анклав функционирует на одну единицу ниже оптимума. А ниже оптимума — это ближе к порогу. А за порогом — арифметика, которая не сходится. А несходящаяся арифметика — это голод, болезнь и смерть.

Глава 2. Жизнь в двухстах метрах под землёй

Коридор встретил их тем же неизменным светом — холодным, вертикальным, без теней и без милосердия.

Светодиодные панели, утопленные в бетон потолка через каждые три метра, горели ровно, без мерцания, без колебаний — четыре тысячи кельвинов, оптимальный спектр для бодрствования, для работы, для послушания. Свет, при котором зрачок не расширяется и не сужается, а застывает в среднем положении, как стрелка прибора на отметке «норма». Свет, не намекавший ни на утро, ни на вечер, ни на время года, — потому что здесь не существовало ни того, ни другого, ни третьего. Свет, убивавший не тело, а нечто более уязвимое — само ощущение, что время существует. Что где-то за миллиардами тонн гранита солнце поднимается, описывает дугу и садится, и этот простейший, древнейший ритм — восход, зенит, закат — всё ещё управляет хоть чьей-то жизнью.

Он падал отвесно, без углов и полутонов, выхватывая из пространства каждую деталь с безжалостной чёткостью рентгеновского снимка. Царапины на стенах — длинные, параллельные, оставленные краями тележек, которые тридцать лет возили по этому коридору кабели, водоросли, трупы. Капли конденсата, медленно ползущие по трубам вентиляции, — каждая отливала серебром, и каждая несла в себе микрограммы влаги, отвоёванной у выдыхов восьмидесяти четырёх пар лёгких, очищенной и возвращённой обратно в систему. Вода здесь не пропадала. Ничто здесь не пропадало. Даже пот, даже слёзы — всё возвращалось в контур, фильтровалось, обеззараживалось и снова текло по трубам.

Воздух был плотным и слоистым, как геологический разрез. Верхняя нота — озон, порождённый бактерицидными генераторами, работавшими непрерывно: острый, почти хирургический запах, от которого покалывало в носоглотке. Под ним — едва ощутимый металлический привкус, тонкий, как послевкусие монеты на языке: озон электрощитовых, медь проводки, сталь арматуры. И наконец — хлор, лёгкий, почти неразличимый, из систем водочистки: 0,5 миллиграмма на литр, ровно столько, сколько нужно, чтобы убить бактерии, и ровно столько, сколько нужно, чтобы напоминать человеку при каждом вдохе — ты дышишь не воздухом, а продуктом переработки.

Этот запах — сложный, многослойный, неистребимый — въедался во всё. В кожу, в волосы, в ткань комбинезонов, в резиновое покрытие пола, в бумагу книг, в сны. Особенно в сны. Александр знал, что обитатели Анклава, рождённые внутри, видели во сне запахи бункера. Им снился не ветер, не трава, не дождь — им снился озон. Хлор. Аммиак. Запах, который стал для них запахом жизни, потому что другого они не знали. И если бы кто-то из них однажды вышел на поверхность и вдохнул настоящий воздух — с пылью, с пыльцой, с гнилью, с сыростью, — он, вероятно, задохнулся бы. Не физически. Психологически. Как задыхается рыба, вынутая не из воды, а из формалина, который она всю жизнь принимала за воду.

Воздух имел свой голос.

Низкий, монотонный, вездесущий гул вентиляции — бас-континуо, над которым строилась вся акустическая архитектура бункера. Он шёл отовсюду: из стен, из пола, из потолка, из самого гранита, передававшего вибрацию турбин, как кость передаёт звук камертона. К нему нельзя было привыкнуть в том смысле, в каком привыкают к тиканью часов — его нельзя было перестать «ощущать». Он проникал через кожу, через подошвы, через зубы, резонировал в грудной клетке на частоте двадцать-тридцать герц, на самой границе слышимости, там, где звук перестаёт быть звуком и становится давлением. Врачи — те, кто ещё помнил медицину мирного времени, — называли это «синдромом низкочастотного шума»: хроническая тревожность, нарушения сна, фантомные звуки в тишине. Но тишины в бункере не бывало. И тревожность давно перестала быть синдромом — она стала нормой.

Здесь, в коридоре, к басовому гулу примешивался другой звук — тихое, свистящее шипение. Фильтры. Четыре шахты диаметром в метр, уходившие на двести метров вверх, сквозь толщу Хибинского гранита, к поверхности, которую никто из живущих не видел, — были оснащены многослойными NBC-HEPA-фильтрами. Тридцать сантиметров стекловолокна, пропитанного активированным углём и гидроксидом лития. Каждый кубометр воздуха, прежде чем попасть в лёгкие восьмидесяти четырёх человек, проходил через эту толщу — медленно, под давлением, как кровь через искусственную почку. Фильтры улавливали пыль, споры, бактерии — это было тривиально. Но главная их функция была иной: они ловили невидимое. Цезий-137 — летучий, прилипчивый, — оседал на волокнах угля и оставался там, как муха в паутине. Радон-222 — газ без цвета и запаха, альфа-излучатель, убивающий лёгочную ткань с терпением часового мастера, — диффундировал сквозь стекловолокно, замедлялся, распадался на короткоживущие дочерние изотопы и оседал на углеродных стенках пор. Тихая, непрерывная, невидимая война — химия против химии, минерал против радиации, двести метров гранита и тридцать сантиметров стекловолокна против целой отравленной планеты.

Они шли молча.

Анна — на полшага позади. Не из страха и не из робости: из дисциплины. Субординация в Анклаве усваивалась раньше алфавита. В «детских группах» — так назывались помещения на шестом уровне, где содержались дети до семи лет, — первым уроком был не счёт и не речь. Первым уроком был порядок номеров. Дети рассаживались по стульям, каждый стул был пронумерован. Номер меньше — ближе к двери. Номер больше — дальше. Кто идёт первым? Кто говорит, кто ест, кто получает одеяло первым? Кто прав в споре, если аргументы равны? Тот, у кого номер меньше. Всегда — номер. Не имя, не возраст, не голос, не характер. Координата. Функция.

Анна была двадцать восьмой. Александр — двадцать седьмым. Одна единица разницы — пропасть и волосок одновременно. Достаточно, чтобы она шла на полшага позади.

Её шаги были лёгкими, упругими, почти бесшумными на резиновом покрытии пола — специальном покрытии, предназначенном не для комфорта, а для функции: поглощение вибраций, термоизоляция, снижение нагрузки на суставы при бесконечных переходах по бесконечным одинаковым коридорам. Покрытие давно истёрлось в центре до гладкости — тысячи шагов, тысячи циклов, тысячи пар подошв, — но по краям ещё сохранило рельеф. Анна шла по краю. Привычка лёгкого человека — не занимать центр, не мешать встречным, не привлекать внимания. Привычка, которую двадцать седьмой отмечал и которую относил к достоинствам: хороший следователь не должен быть замечен. Он должен быть тенью.

Александр шагал размеренно. Не торопясь, но и не медля — ровно с той скоростью, которая позволяла глазам фиксировать периферию, не поворачивая головы. Он не смотрел по сторонам. Не из равнодушия и не из привычки — хотя и привычка тоже. Он смотрел «вперёд», а видел «всё». Наставник называл это «рассредоточенным фокусом»: взгляд, направленный в одну точку, но воспринимающий всё поле зрения целиком, как рыбий глаз камеры наблюдения. Царапина на стене слева — свежая, белая на серо-зелёном, глубина полмиллиметра, сделана краем чего-то металлического, прямоугольного. Тележка. Направление — к мастерской сварщиков. Капля конденсата на потолочной трубе — висит, не падает, значит, влажность в норме, рециркуляторы справляются. Пятно на полу, в трёх метрах впереди, у левой стены — тёмное, размером с ладонь. Не кровь — слишком светлое. Питательный раствор, пролитый кем-то из гидропонщиков. Недавно: ещё не высох.

Всё здесь было знакомо. До тошноты, до зубной боли, до фантомного зуда под браслетом, который нельзя было почесать, потому что браслет снимать нельзя, а зуд — это не зуд, а нерв, привыкший к постоянному давлению пластика на кожу и уже не понимающий, раздражён он или нет. Бетон, три метра AR500. Потолок в два метра десять — на средний рост советского военного, а не на людей, выросших на пять сантиметров выше благодаря той самой «эре про-

цветания», что их и погубила. Трубы в ржавых стыках, пневматические двери с номером сектора на стальной табличке.

Одинаковые. Все одинаковые. Каждый метр этого коридора — как предыдущий и как следующий, и если бы не номера на табличках, человек мог бы идти по нему вечно, не понимая, движется он или стоит на месте. Это была не архитектура. Это была топология безысходности. Лента Мёбиуса из бетона, без начала и конца, без входа и выхода — потому что выход существовал, но вёл туда, где жить было нельзя.

По пути им встречались другие.

Номер двенадцать — инженер-энергетик. Худой настолько, что комбинезон болтался на нём, как на вешалке: ключицы торчали из ворота двумя острыми арками, запястья были тонкими, как карандаши, а щёки — впалыми, проваленными внутрь, словно кто-то вдавил их пальцами и забыл отпустить. Глаза — вечно красные от недосыпа, от света, от напряжения — моргали часто и неглубоко, как у человека, который боится закрыть веки, потому что боится, что не откроет. Он тащил за собой тележку с кабелем — бухта медного провода в потрескавшейся изоляции, килограммов пятнадцать, — и бормотал что-то себе под нос. Александр уловил обрывки: «...потери на третьем инверторе — четырнадцать процентов... если перекинуть нагрузку на резервный...» Расчёты. Бесконечные расчёты, которые энергетики вели непрерывно, как врачи ведут историю болезни: каждый ватт на счету, каждый процент потерь — это свет, которого кому-то не хватит, тепло, которого кому-то не достанется.

Двенадцатый кивнул Александру — коротко, без слов, одним движением подбородка вниз и вверх. И прошёл мимо, оставив после себя запах машинного масла — густой, сладковатый, почти приятный на фоне вечного озона — и пота. Пот здесь пах иначе, чем на поверхности. Пот людей, питающихся спирулиной, тилапией и картофелем, имел характерный водорослевый привкус — слабый, но узнаваемый, как подпись. Александр мог по запаху определить, из какого сектора человек: гидропонщики пахли аммиаком и хлорофиллом, аквапонщики — рыбой и влажным бетоном, инженеры — маслом и медью, врачи — спиртом и отчаянием.

Дальше — двое гидропонщиков. Номера пятьдесят один и пятьдесят два. В одинаковых серых комбинезонах с зеленоватыми пятнами удобрений на коленях и предплечьях — следы работы в грядках, которые невозможно было отстирать, потому что стирка требовала воды, а вода требовалась для питья. Они несли между собой пластиковый ящик — бывший ящик из-под медикаментов, переделанный, — из которого поднимался густой, насыщенный запах хлорофилла. Спирулина и хлорелла: мокрая, плотная, тёмно-зелёная масса, похожая на болотную тину, но являющаяся фундаментом всего — источником растительного белка, источником кислорода для рециркуляторов, сырьём для препаратов. Спирулина была всем: едой, лекарством, воздухом и наказанием. Четыре функции в одной биомассе. Анклав любил многофункциональность — она сэкономила место. Она сэкономила жизнь.

Гидропонщики шли медленно, осторожно, синхронизировав шаги, чтобы ящик не качнулся. Каждое движение — выверенное, как движения сапёра: потеря даже килограмма биомассы означала минус двести граммов белка, минус сорок литров кислорода, минус чей-то ужин. Они не посмотрели на следователей. Не из неуважения — из концентрации. Их мир сейчас сузился до размеров ящика, который они несли. Всё остальное — коридор, свет, люди, преступления — не существовало. Существовала только зелёная масса, тяжёлая и скользкая, и восемьдесят четыре рта, которые ждали её.

Мимо прошла женщина.

Александр не успел рассмотреть её номер — она прошла быстро, по левой стороне, у самой стены, как ходят люди, не желающие быть замеченными. Или — разучившиеся желать. Её движения были механическими, экономными, лишёнными всего лишнего: каждый шаг — одинаковой длины, каждый взмах рук — одинаковой амплитуды. Ни ускорения, ни замедления. Заводная игрушка, заведённая на восемь часов и обрабатывающая завод. Волосы собраны

в тугой узел на затылке — так туго, что кожа на висках казалась натянутой, как мембрана барабана. Лицо — узкое, с тёмными кругами под глазами, залёгшими так глубоко, что казались не тенями, а впадинами, как у черепа, обтянутого кожей. Признак хронического дефицита мелатонина. Без смены светового дня организм терял ориентиры. Циркадные ритмы разрушались, как разрушается часовой механизм, из которого вынули маятник: стрелки крутились, но не показывали время. Сон становился поверхностным, рваным, населённым кошмарами, в которых снился свет — тот самый, в четыре тысячи кельвинов, — и человек просыпался, не понимая, спал он или бодрствовал. Бодрствование становилось тягостным бременем — состоянием, в котором тело двигалось, а сознание отставало на полшага, как отстаёт эхо от звука.

Женщина прошла и растворилась за поворотом. Александр проводил её взглядом — расфокусированным, периферийным, не поворачивая головы. И вспомнил.

Наставник говорил ему: «Мы здесь не люди. Мы — функции. И когда функция нарушается, организм отторгает её. Как иммунная система отторгает вирус. Не со злобой. Не с жестокостью. С равнодушием. Биологическим, стерильным равнодушием. Запомни это. Потому что наша работа — следить, чтобы функции не нарушались. А если нарушились — починить. Или удалить».

Тогда, пятнадцатилетним стажёром, только недавно перенёсшим браслет с лодыжки на запястье — кожа на щиколотке ещё хранила белый след, как от снятых кандалов, — Александр не понял всей глубины этих слов. Они показались ему красивыми, но абстрактными, как формула, которую выучил, но не применил. Теперь, десять лет спустя, он видел: та женщина не шла. Она «выполняла перемещение» между точками А и Б. Её глаза, не замечавшие ни его, ни Анны, ни света, смотрели внутрь — на циферблат усталости, отсчитывающий минуты до конца цикла.

Функция. Не человек.

Бункер был машиной.

Не метафорой, не подобием — машиной в самом буквальном, инженерном смысле слова: системой, где каждый допуск минимален, а каждая ошибка потенциально смертельна. Гидропоника — двести квадратных метров под светодиодами: синий на четыреста пятьдесят нанометров, красный на шестьсот шестьдесят, строго по спектру поглощения хлорофилла, ни нанометра в сторону. Десять тонн урожая в год — шесть тонн картофеля, две тонны салата, две тонны водорослей для кислорода и белка. Десять тонн. На восемьдесят четыре человека. Сто девятнадцать килограммов на душу в год, триста двадцать шесть граммов в сутки. Если вычесть потери при обработке, усушку, брак, потери при транспортировке — а потерь избежать невозможно даже в идеальной системе, а идеальных систем не существует, — реальный выход составлял двести восемьдесят–двести девяносто граммов. На человека. В сутки. Этого хватало, чтобы не умереть от голода. Не хватало, чтобы забыть о нём.

Аквапоника — два бассейна по десять кубометров, восемьсот рыб — тилапия, неприхотливая, плодовитая, способная расти без солнца, без течений, без простора. Рыба, которая не требовала пастбищ, не требовала неба, не требовала ничего, кроме тёплой воды, корма из водорослевых отходов и отсутствия выбора. Идеальный обитатель бункера. Один килограмм белка на человека в месяц. Тридцать три грамма в сутки. Куриное яйцо без скорлупы — примерно столько же. И этот белок — волокнистый, безвкусный, с неистребимым привкусом тины — был для большинства единственным источником животных аминокислот.

Всё — на грани. Один сбой в CO₂-скрубберах рециркуляторов — и уровень углекислого газа подскакивал выше полупроцента: сонливость, головная боль, снижение когнитивных функций на пятнадцать–двадцать процентов, ошибки в расчётах энергетиков, ошибки в дозировках у врачей, ошибки в обрезке у гидропонщиков. Один отказ насоса в системе обратного осмоса — и вода превращалась из питьевой в техническую, а из технической — в токсичную, и никакие титаносиликаты Хибин не успевали бы связать стронций-90, просочившийся через

повреждённую мембрану. Один сбой в насосе аквапоники — и восемьсот рыб всплывали брюхом вверх за сорок минут: аммиак, не отфильтрованный вовремя, выжигал жабры.

Анклав выживал не чудом. Не молитвой. Не надеждой. Расчётом. И расчёт требовал абсолютного повиновения. Для этого был закон. Для этого были номера. Для этого были браслеты, Стена Жизни, восьмичасовые циклы, протоколы. Для этого были следователи и органы правопорядка. Иммунная система организма из восьмидесяти четырёх клеток.

Александр вновь подумал о наставнике.

Он думал о нём каждый день — не из сентиментальности (сентиментальность была роскошью мирного времени), а как математик думает о теореме: как об основании, на котором построено всё остальное.

Даже в мыслях он называл его только так — «наставник». Не по имени, не по номеру. «Наставник» — единственное слово, которое вмещало всё: и жёсткость, и справедливость, и ту странную, неуклюжую, почти стыдливую заботу, которую этот человек прятал за протоколами, как прячут фотографию за обложкой устава.

В памяти всплыл образ — чёткий, как гравюра на стальной пластине. Жёсткие, будто вырубленные из гранита черты. Нижняя челюсть — квадратная, тяжёлая, с мышцами, перекатывавшимися под кожей при каждом слове, как валуны под ледником. Нос — сломанный, сросшийся чуть криво: наследие первых месяцев, когда порядка ещё не было и право определялось кулаком. Глаза — глубоко посаженные, цвета старого свинца, с той особенной неподвижностью зрачков, которая бывает у людей, привыкших смотреть не «на» собеседника, а «сквозь» него, как сквозь стекло, за которым — истина. Эти глаза не смеялись. Никогда. Даже когда рот кривился в подобии усмешки — глаза оставались прежними: холодными, калиброванными, как окуляры.

Седина пробивалась на висках сквозь коротко стриженные, щетинистые волосы — не благородная серебряная седина стареющего профессора, а жёсткая, желтоватая, как окислившаяся сталь. Руки — крупные, с короткими, обгрызенными ногтями и мозолями на подушечках пальцев от вечной работы с бумагой. И всегда — «всегда» — в этих руках или в поле зрения, на расстоянии вытянутой руки, как оружие, которое нельзя оставлять без присмотра, — книга.

Карманное издание. Корешок давно размочаленный, перетянутый изолентой цвета хаки — единственным доступным переплётным материалом. Страницы пожелтели до цвета крепкого чая, некоторые были надорваны по углам, другие — подклеены рыбьим клеем. Поля испещрены пометками — аккуратным, убористым почерком с характерным нажимом, от которого на обороте проступали вмятины, как шрифт Брайля.

«Отверженные. Том первый». Виктор Гюго.

Наставник не расставался с ней. Она лежала под его подушкой во время сна — если это можно было назвать сном: четыре-пять часов на спине, руки вдоль тела, дыхание ровное, лицо неподвижное даже в фазе быстрого сна. Он носил её в нагрудном кармане комбинезона — всегда в левом, всегда обложкой к телу, — и книга за годы приняла форму его груди, изогнулась, как приспособливается к хозяину вещь, ставшая частью тела. Он читал её при любом удобном случае: в очереди в столовую, перед сном, в перерывах между допросами, даже на общих собраниях, если тема не требовала его полного внимания, — держа книгу на колене под столом, как мальчишка, читающий комикс на уроке.

Особенно он любил инспектора Жавера.

«Вот идеал», — говорил он Александру, когда тот был ещё подростком, с новым браслетом на запястье — кожа под ним ещё была розовой, не загрубевшей, непривычной к давлению пластика. Они сидели в этой же комнате — в комнате для допросов, которая была и кабинетом, и библиотекой, и классной. «Жавер не человек. Он — закон во плоти. Он не ненавидит преступников — он их не понимает. Не может понять. Как нога не может понять, зачем ей

идти назад, когда тело идёт вперёд. Вот чем ты должен стать, двадцать седьмой. Не человеком, который применяет закон. Человеком, который «является» законом».

Наставник жил этим персонажем так, как верующий живёт своим божеством — не как вымыслом, а как указанием к действию. Как инструкцией. Как чертежом собственной души, по которому он цикл за циклом перестраивал себя — вытёсывал лишнее, укреплял нужное, замуровывал слабое. Жавер был его молитвой, его уставом и его диагнозом. И — как Александр понял значительно позже — его приговором.

Цикл 26 056

Наставника нашли за его столом. Он сидел — не упал, не съехал на пол, не запрокинул голову, — а именно «сидел», ровно, как сидел всегда: спина прямая, плечи развёрнуты, подбородок чуть опущен к груди. Правая рука всё ещё сжимала ручку, кончик пера которой касался бумаги в точке, где буква оборвалась на полузакорючке. Незаконченная фраза в незаконченном отчёте. Левая рука прижимала к груди книгу — «Отверженных», — прижимала крепко, как прижимают к груди ребёнка, или флаг, или последнее, что осталось от прежней жизни.

Лицо было спокойным. Почти умиротворённым. Морщины, обычно стянутые в жёсткий каркас контроля, разгладились, словно напряжение, державшее их долгие годы, наконец отпустило. Рот был закрыт, но уголки губ чуть приподняты — не в улыбке, нет, а в том выражении, которое бывает у человека, решившего сложную задачу. Или получившего ответ на вопрос, который мучил его всю жизнь.

Сердце, изношенное десятками тысяч бессонных циклов, бесконечным напряжением, подавленным кортизолом, дефицитом магния, дефицитом сна, дефицитом всего, что нужно живому органу, чтобы оставаться живым, — просто остановилось. Без драмы. Без крика. Как останавливается часовой механизм, когда заводная пружина ломается от усталости металла — не от удара, не от небрежности, а от количества оборотов, которых было слишком много.

Его нашли через шесть часов. При смене цикла. Тело уже остыло — температура в помещении держалась на двадцати градусах, и теплоотдача шла равномерно, по экспоненте, как описано в учебниках судебной медицины, которые Александр к тому времени уже знал наизусть. Трупное окоченение начало схватывать челюсть и пальцы. Ручку пришлось вынимать с усилием. Книгу — тоже. Левая рука не хотела разжиматься, словно даже после смерти тело помнило: эту вещь нельзя выпускать. Эту вещь нельзя терять. В ней — всё, что осталось.

Александр стоял тогда у двери и смотрел, как двое медиков укладывали тело на носилки. Он стоял и думал. Не о горе — горе было бы непрофессионально. Не о потере — потеря была бы слабостью. Он думал: «Он умер так, как жил. На посту. Это ли не высшая форма служения?»

Через сорок минут координатор-архивариус, номер четыре, официально объявил по внутренней связи ровным, лишённым эмоций голосом: «Место следователя — вакантно. Бывший стажёр номер двадцать семь — приступить к исполнению обязанностей».

И Александр приступил. Снял со стола наставника ручку, протёр её рукавом. Сел в его кресло — оно было ещё тёплым. Открыл незаконченный отчёт и дописал последнюю букву.

— Вы снова думаете о нём, — тихо сказала Анна.

Александр вздрогнул. Едва заметно — сокращение трапециевидной мышцы, подъём плеч на два миллиметра, мгновенное напряжение и мгновенное расслабление.

Она уловила его отвлечённость. По изменению длины шага — на три сантиметра короче обычного. По смещению взгляда — вниз и вправо, к визуальным воспоминаниям. По ритму дыхания — чуть замедленному, как у человека, нырнувшего под воду и забывшего вынырнуть.

«Проницательна», — мелькнуло в голове Александра. И сразу, как тень за мыслью: «даже слишком».

— Да, — ответил он, не поворачивая головы. — Как о прецеденте.

Слово было выбрано точно. Не «как об учителе». Не «как об отце». Как о прецеденте — юридическом случае, образце, эталоне. Прецедент не вызывает эмоций. Прецедент вызывает применение.

Он не любил вспоминать отдельные грани наставника. Грубость — как тот без конца поправлял его стойку, дёргая за плечо, разворачивая корпус, заставляя стоять перед зеркалом и смотреть себе в глаза, пока не научится держать взгляд, не моргая, тридцать секунд, шестьдесят, девяносто. Как учил допрашивать — не словами, а молчанием: «Молчи, двадцать седьмой. Молчи и смотри. Человек не выносит тишины. Он заполнит её сам. Словами. Правдой. Враньём. Твоя задача — отличить одно от другого». Как наказывал за ошибки — не физически, не криком, а хуже: молчаливым разочарованием, от которого хотелось провалиться сквозь все шесть уровней бункера.

Будучи ребёнком, Александр считал наставника почти бездушным. Автоматом в человеческом теле. Пока однажды не увидел, как тот, обнаружив подозрительные показатели pH в системе водоснабжения на втором уровне, не спал почти десять циклов, пока не вычислил источник загрязнения — неисправный дозатор хлора, капавший втрое выше нормы, — и не устранил его собственными руками, обжёгшись концентрированным раствором, потому что инженеры были заняты на аварийном ремонте вентиляции. Он спас семнадцать человек от хронического отравления хлором. Ни один из семнадцати не узнал об этом. Наставник не доложил Совету. Не попросил благодарности. Не записал в отчёт. Просто вымыл руки, перевязал ожог полоской от старой рубашки и вернулся к прерванному делу.

А потом — позже, через год или два — Александр увидел, как наставник на заседании Совета отстаивал необходимость выделения дополнительных двенадцати квадратных метров для детской комнаты. Аргументы — сухие, цифровые, безупречные: психомоторное развитие будущих специалистов, снижение тревожности, повышение обучаемости на двадцать процентов. Ни слова о детях как о детях. Ни слова о том, что им нужно пространство, чтобы «играть». Только — «функциональность будущих единиц». Но Александр видел его глаза в тот момент — те самые свинцовые, никогда не смеющиеся глаза — и в них, на самом дне, под всеми слоями контроля и протокола, горело нечто, что не имело номера. Нечто, что наставник загонял вглубь, как загоняют трещину в стене герметиком: не чинят, а маскируют.

Наставник был строг. Наставник был справедлив. Наставник был человеком грани — узкой, как лезвие, — который жил по тому, что проповедовал, и умер по тому, во что верил. Его инструкция совпала с его приговором, как совпадает форма ключа с формой замка. Идеально. Необратимо. Навсегда.

Они прошли мимо столовой.

Двести квадратных метров, сто стульев, десять столов, вытянутых в два ряда. Запах варёного картофеля — пресного, водянистого, выращенного в минеральной вате без намёка на почву и потому лишённого вкуса, к которому привыкло поколение поверхности. Запах тилапии — рыбный, тинистый, едва прикрытый нотой хлорофилла из спирулиновой пасты, которую повара добавляли во всё: в кашу, в бульон, в хлеб, если месиво из картофельной муки и воды можно было назвать хлебом. Запах, от которого сводило живот — не от голода, а от привычки: тело знало, что еда будет именно такой, и готовилось заранее, как готовится к удару.

Через открытую дверь Александр видел людей, собравшихся внутри в свободный цикл. Те, кому повезло — если это слово было здесь уместно — закончить смену. Они сидели за столами, склонившись над алюминиевыми мисками, в которых лежало одно и то же: картофельное пюре, ложка рыбного филе, горка зелёной пасты. Тысяча четыреста килокалорий на три цикла. Рассчитанный минимум, необходимый для поддержания базового метаболизма при рабочей нагрузке. Ни калорией больше. Ни калорией меньше. Организм получал ровно столько топлива, сколько нужно, чтобы продолжать функционировать, — и ни капли сверх того, что могло бы дать ощущение сытости. Сытость — это расточительство. Расточительство — это смерть.

Тихие разговоры. Приглушённый смех — редкий, короткий, как вспышка искры от кабеля с нарушенной изоляцией. Кто-то что-то рассказывал — Александр не расслышал, — и двое мужчин за угловым столом тихо засмеялись, прикрыв рты ладонями, словно стесняясь звука. Смех в Анклаве был странным явлением. Он не запрещался — протокол не регулировал эмоции. Но он был редок, как дождь в пустыне, и так же быстро исчезал, оставляя после себя только воспоминание о влаге. Люди разучились смеяться не потому, что забыли как, а потому что всё, над чем можно было смеяться, закончилось тридцать лет назад — вместе с небом, ветром, временами года и словом «завтра», которое здесь не имело смысла, потому что завтра было неотличимо от сегодня.

Дальше — лестница вниз. Узкая, крутая, со ступенями из рифлёного металла — того самого AR500, из которого были сделаны стены, — стёртыми посередине до блеска тысячами шагов. Перила — стальная труба, холодная, влажная от конденсата, отполированная ладонями до тусклого серебра. Спуск на четвёртый уровень — к гидропонным фермам. С каждой ступенью воздух менялся. Становился плотнее, влажнее, теплее — как если бы они спускались не по лестнице, а в глотку живого существа, в его тёплое, влажное, пахнущее травой нутро. Температура поднималась: на жилых уровнях держалось двадцать градусов, здесь — двадцать два, двадцать три, у самых ламп — двадцать четыре. Оптимум для роста. Для фотосинтеза. Для жизни, которая не знала ни дня, ни ночи, ни зимы, ни лета, а знала только спектр — синий и красный, четыреста пятьдесят и шестьсот шестьдесят нанометров — и питательный раствор, капающий на корни с монотонностью метронома.

Рециркуляторы здесь работали на полную мощность — натужно, с подвыванием, как перегруженный мотор, — гоняя воздух через НЕРА-фильтры с ионами титаносиликатов, последнюю линию защиты от того, что всё ещё просачивалось снаружи, сквозь двести метров гранита, сквозь мембраны обратного осмоса, сквозь тридцать сантиметров стекловолокна. Просачивалось — медленно, по атому, по иону, как вода просачивается через кладку плотины, — но просачивалось. Дозиметры на стенах показывали 0,15–0,18 микрозиверт в час. Норма — ниже 0,2. Граница — тонкая, как волос.

Запах изменился резко, как меняется картина за поворотом коридора. Питательный раствор — железистая, сладковатая вонь нитратов аммония, растворённых в воде. Перегретые насосы — лёгкий термический привкус, как от горячего утюга на мокрой ткани. И хлорофилл — густой, травяной, почти осязаемый, настолько насыщенный, что казалось, его можно было зачерпнуть ладонью из воздуха, как зачёрпывают воду из ручья.

Влажность возросла — семьдесят, семьдесят пять процентов. Она конденсировалась на холодных поверхностях труб, собираясь в капли, стекавшие по металлу тонкими дорожками и падавшие на пол с тихим, ритмичным *тк... тк... тк...*, который был здесь вместо часов. На стенах, в стыках бетонных плит, темнели пятна — плесень. Враг. Вечный, терпеливый, неисребимый. Озонаторы сдерживали её, ультрафиолетовые стерилизаторы выжигали колонии на открытых поверхностях, но в щелях, в порах бетона, в микротрещинах она жила. Ждала. Как радиация ждала за стенами — не уходя, не ослабевая, просто ожидая момента.

Свет сменился. Белый уступил место монохромному свечению — синему и красному, расположенному строгими рядами под потолком, как строки двоичного кода. Фотосинтетически активная радиация: синий на четыреста пятьдесят нанометров — для вегетативного роста, для листьев и стеблей; красный на шестьсот шестьдесят — для цветения и плодоношения. Человеческий глаз, попав в это освещение, терял ориентиры: цвета искажались, лица приобретали мертвенный фиолетовый оттенок, руки казались синюшными, как у утопленника.

Один из гидропонщиков склонился над грядкой — кассетой из нержавеющей стали, заполненной минеральной ватой, пропитанной раствором аммонийной селитры. Резиновые сапоги, секатор, лопатка. Руки в перчатках — тонких, латексных, многократно залатанных, потому что новые перчатки были роскошью, а тактильный контакт с раствором вызывал дер-

матит. Лицо — сосредоточенное, опущенное вниз, к растениям, которые он знал лучше, чем собственное тело. Каждый куст. Каждый лист. Каждое пожелтение, каждое пятнышко, каждый изгиб стебля — всё читалось, как врач читает симптомы. Хлороз — дефицит железа. Некроз — избыток аммиака. Курчавость — недостаток калия. Язык растений, которому учили с трёх лет, — раньше, чем языку людей.

Люди, проводившие здесь по восемь часов каждый цикл, выглядели нездорово даже по меркам бункера: кожа — бледная до прозрачности, с синеватым отливом, словно пигмент вымывался монохромным светом, как краска вымывается из ткани кислотой. Под глазами — фиолетовые тени, но не от усталости, а от спектра: кровеносные сосуды просвечивали под тонкой кожей, и в красно-синем свете они казались чернильными росчерками на пергаменте.

Гидропонщики были призраками. Призраки, возделывающие призрачные поля в подземном аду, освещённом светом, которого не существует в природе. Они выращивали жизнь в месте, где жизни не должно было быть. И каждый килограмм картофеля, поднятый ими наверх, в столовую, на алюминиевые миски, — был маленькой победой. Маленькой, бессмысленной, повторяющейся победой, которая не приближала ни к чему, кроме следующего цикла. И следующего. И следующего.

Место преступления было здесь. За поворотом, в проходе между двумя рядами ламп. Именно здесь, в этом узком, тесном пространстве обнаружили номер восемьдесят — лежащим без чувств, с пробитым затылком.

Их встретил номер тридцать один, охранявший место преступления от лишних глаз. Александр остановился. Анна — рядом, на полшага позади.

— Прибыли, — сказал он тихо, без интонации. — Номер двадцать восемь, приступим к осмотру.

Глава 3. О чём рассказывают стены

Номер тридцать один стоял неподвижно, ожидая своей смены.

Не то чтобы он замер, услышав шаги следователей, — он, по всей видимости, вообще не двигался последние восемь часов. Стоял, как стоят опоры в штреке: ноги расставлены чуть шире плеч, руки заложены за спину, подбородок — приподнят ровно настолько, чтобы взгляд охватывал оба конца коридора, не поворачивая головы. Идеальная стойка, отработанная с четырёхлетнего возраста: тысячи приседаний, тысячи часов на ногах, тысячи тренировок перед зеркалом, которого в Анклаве не было — его заменяла стальная пластина, отполированная до тусклого блеска, искажавшая отражение так, что человек в ней казался чуть шире и ниже, чем был на самом деле. Мало кто в Анклаве знал своего настоящего отражения. Может быть, это было к лучшему.

Охранник был крепок — одним из немногих, кто выглядел здесь так, словно тело его получало чуть больше, чем минимум: плечи — широкие, выступающие из комбинезона плотными валунами трапециевидных мышц, шея — короткая, бычья, с толстыми жилами, перекачавшимися под кожей при малейшем повороте. Лицо — плоское, без выраженных скул, с тяжёлой нижней челюстью и носом, сломанным и сросшимся чуть набок, — следы учебных спаррингов, которые проводились раз в двадцать циклов для поддержания физической формы. Глаза — маленькие, глубоко посаженные, с тем особенным выражением, которое Александр про себя называл «оптическим нулём»: зрачки, фиксирующие всё, не задерживаясь ни на чём. Не равнодушие — профессиональная расфокусировка. Охранник не смотрел на следователей. Он «регистрировал» их присутствие, как сейсмодатчик регистрирует колебание: без эмоций, без оценки, без вопросов. Данные. Факт. Зафиксировано.

На его левом запястье мерцал браслет с номером тридцать один. На поясе — кобура. Пустая. Кожа кобуры — потрескавшаяся, побелевшая по сгибам, но чистая: охранники ухаживали за своими кобурами так, как гидропонщики ухаживали за секаторами, — с ритуальной тщательностью, не имеющей отношения к функции. Оружие хранилось за шестью уровнями и двумя биометрическими замками, выдавалось по личному распоряжению номера пять, главы правопорядка, и только в исключительных случаях, список которых умещался на одной странице протокола. Кобура была пуста. Но она «была». И этого было достаточно.

— Номер двадцать семь и номер двадцать восемь, — произнёс охранник при их приближении. Голос — ровный, низкий, с лёгкой хрипотцой от многочасового молчания. Не приветствие. Идентификация. Процедура допуска к охраняемому объекту: назвать входящих по номеру, зафиксировать время прибытия. Время он фиксировал в голове — блокнота у него не было, блокноты были дефицитом, распределялись по приоритету, и охранникам они полагались лишь в исключительных случаях. Память заменяла бумагу. В Анклаве многие вещи заменяли друг друга.

Александр остановился в двух шагах от него — ровно на дистанции, которую протокол определял как «рабочую»: достаточно близко для негромкого разговора, достаточно далеко, чтобы не нарушать личное пространство — понятие, которое в бункере, где на каждого приходилось по десять квадратных метров жилой площади, было скорее теоретическим, чем практическим, но, тем не менее, соблюдалось.

— Номер тридцать один, — произнёс Александр. — Доложите обстановку за период дежурства.

Он задал вопрос так, как задают его люди, заранее знающие ответ, — но нуждающиеся в том, чтобы ответ был произнесён вслух. Зафиксирован. Став не мыслью, а фактом.

Охранник ответил немедленно, не меняя позы — только челюсть двигалась, словно кто-то нажимал кнопку воспроизведения на записывающем устройстве:

— Заступил на пост в начале цикла тридцать три тысячи девяносто восемь. Сменил номер тридцать четыре. Обстановка при передаче — без происшествий. За период дежурства — зафиксировано четырнадцать проходов. Семь — персонал гидропонных ферм, номера пятьдесят — пятьдесят три, направление — к рабочим секциям и обратно. Трое — инженеры водоснабжения, номера шестнадцать и восемнадцать, направление — техническая шахта «В-4». Четверо — младший медперсонал, номера шестьдесят один и шестьдесят два, направление — складская зона. Попыток несанкционированного доступа к месту преступления не зафиксировано. Посторонних предметов не обнаружено. Посторонних звуков не зафиксировано. Обстановка — штатная.

Четырнадцать проходов за полный цикл. Александр отметил это мысленно. Коридор четвёртого уровня не был магистральным — основные потоки людей шли по второму и третьему, где располагались жилые зоны, столовая, медблок. Четвёртый уровень — технический: гидропонные фермы, аквапонные бассейны, часть вентиляционных узлов, мастерская сварщиков. Сюда приходили по делу. Не гулять — в Анклаве не гуляли, — а работать. Четырнадцать проходов — нормальная цифра для рабочего цикла.

— Камеры? — спросил Александр, хотя и знал ответ.

— Ближайшая — на лестничном узле между третьим и четвёртым уровнями. Угол обзора не захватывает данный участок коридора. Следующая — у входа в аквапонную секцию. Данный участок находится вне зоны покрытия обеих камер.

Двадцать камер на шесть уровней. Двадцать зрачков на три тысячи квадратных метров лабиринта из бетона, стали и труб. Мёртвых зон — десятки. Этот коридор был одной из них: слепое пятно системы наблюдения, зажатое между двумя углами обзора, как щель между зубами, куда не достаёт щётка. Тот, кто выбрал это место, знал об этом. Или — интуитивно чувствовал, как чувствуют опасные зоны животные, не видевшие хищника, но знающие, где он может прятаться.

— Датчики движения?

— В коридорах четвёртого уровня отсутствуют. Установлены только на периметре — входные шлюзы, вентиляционные шахты, аварийные выходы. Внутренняя зона не оборудована.

Александр кивнул. Он знал и это. Датчиков движения было двадцать штук — инфракрасных и вибрационных, — и все они стояли по внешнему периметру бункера, в радиусе пятидесяти метров от стен, обращённые наружу, как глаза крепости, следящие за пустошью. Они не были предназначены для контроля за людьми «внутри». Внутри контроль обеспечивали браслеты. Но браслеты показывали лишь «жив» ли человек — они не показывали где он, и «что» делает. Не фиксировали удар. Не записывали крик. Браслет пострадавшего зафиксировал лишь резкий скачок пульса — с семидесяти двух до ста сорока четырёх за три секунды, — а затем падение до пятидесяти восьми. Потерю сознания. Эти данные были переданы на Стену Жизни, дежурный охранник среагировал, направил людей на поиски. Педагога нашли примерно через одиннадцать минут. Одиннадцать минут — время, за которое можно добраться до любой точки бункера и вернуться. Время, достаточное, чтобы исчезнуть.

— Благодарю, номер тридцать один, — произнёс Александр. — Вы свободны. Доложите номеру тридцать пять о необходимости выставить следующую смену через полцикла. Допуск к месту преступления — только номера двадцать семь и двадцать восемь.

Охранник коротко кивнул. Развернулся — чётко, по-военному, на носке правой ноги — и зашагал прочь. Его шаги — тяжёлые, мерные, как удары кувалды по рельсу — гулко откликались от стен, затихая по мере удаления, пока не слились с вечным гулом вентиляции и не растворились в нём, как капля растворяется в океане одинаковых капель.

Александр и Анна остались одни.

Вдвоём — в узком, прямом, как ствол, коридоре четвёртого уровня. Двести сантиметров до потолка. Сто шестьдесят — от стены до стены. Двое взрослых людей могли разойтись,

только повернувшись боком и втянув плечи, — и даже тогда локти задевали шершавый бетон, покрытый серо-зелёной матовой краской, которая в этом участке облупилась сильнее, чем в жилых секциях: четвёртый уровень был техническим, и его стены ремонтировали в последнюю очередь, когда краска уже отслаивалась пластами, обнажая голый бетон — серый, зернистый, с краплениями слюды, поблёскивавшей под лампами, как ложная драгоценность.

По левой стене, на высоте ста семидесяти сантиметров, тянулась труба вентиляции — стальная, покрытая матовой изоляцией из стекловолокна, местами обмотанная дополнительным слоем там, где стыки начинали пропускать тёплый воздух. Трубы были артериями бункера: по ним шёл воздух — отфильтрованный, очищенный, прошедший сквозь тридцать сантиметров стекловолокна и двести метров гранита, — единственный воздух, которым можно было дышать, не рискуя лёгкими. Под трубой — пучок электрических кабелей в потрескавшейся изоляции, прижатый к стене скобами через каждые полметра. По правой стене — ничего. Голый бетон, облупившаяся краска, три царапины — параллельные, горизонтальные, на высоте восьмидесяти сантиметров. След тележки. Старый.

И — «оно». Пятно.

Александр опустился на корточки.

Движение — плавное, контролируемое, без хруста в коленях, без потери равновесия. Он присел так, как его учили: спина прямая, вес на носках, руки свободны. Позиция, из которой можно мгновенно подняться. Позиция допроса мёртвых — так наставник называл осмотр места преступления. «Труп не говорит. Но место — говорит. Стены — говорят. Пол — говорит. Пыль — говорит. Всё говорит. Твоя задача — слушать».

Пятно было в шестидесяти сантиметрах от правой стены и в ста десяти — от левой. Ближе к правому краю коридора. Размером с мужскую ладонь — нет, чуть больше: сантиметров двадцать пять в диаметре, неправильной формы, с размытыми краями, как у кляксы. Тёмно-коричневое, почти чёрное в центре, светлеющее к периферии. Кровь, впитавшаяся в микропоры резинового покрытия.

Александр наклонил голову. Рассмотрел пятно под углом — при низком освещении оно казалось однородным, но при боковом взгляде проступала структура: центр — плотнее, насыщеннее, место, где голова потерпевшего лежала дольше всего. Периферия — размытые потёки, радиально расходящиеся от центра, как лучи. Три основных направления: вперёд — по ходу коридора, к гидропонным секциям — вправо — к стене — и назад, к повороту, откуда они пришли. Четвёртого направления — влево — не было. Там стена. И потерпевший упал лицом вниз, головой чуть вперёд и вправо. Тело лежало практически по центру коридора, слегка развернувшись при падении.

— Номер двадцать восемь, — произнёс Александр, не поднимая головы. — Данные медицинского отчёта. Зачитай описание раневого канала.

Он слышал, как Анна раскрыла блокнот. Небольшой, размером с ладонь, в обложке из переработанного алюминия — тонкого, изогнутого по форме руки, — с бумажными страницами, исписанными её мелким, чётким почерком. Бумага была дефицитом. На расследование уголовного дела — четырнадцать листов. Ни одним больше. Анна использовала каждый лист с обеих сторон, заполняя строки с интервалом в два миллиметра, без полей, без отступов, без единого лишнего символа. Экономия. Привычка. Необходимость.

— Из отчёта главного врача, номер два, — начала Анна, и её голос в тишине коридора прозвучал чётко, как удар молотка по наковальне. — Цитирую: «Потерпевший — номер восемьдесят, мужчина, рост сто восемьдесят два сантиметра, масса тела шестьдесят девять килограммов. Закрытая черепно-мозговая травма. Рассечение кожных покровов затылочной области. Локализация: два сантиметра ниже затылочного бугра, смещение на полтора сантиметра влево от срединной линии. Рана — ушибленная, неправильной формы, длина — четыре с половиной сантиметра, ширина — два сантиметра, глубина — до надкостницы. Края раны

— неровные, осаднённые, с мелкими вдавлениями по периметру». — Она сделала паузу, перелистнула страницу. — «Субдуральная гематома в проекции затылочной кости, объём — приблизительно тридцать — тридцать пять миллилитров. Прогноз — благоприятный при отсутствии осложнений. Период нетрудоспособности — от тридцати до пятидесяти циклов».

Александр слушал. Каждое слово ложилось на карту, которую он строил в голове, — не на бумаге: бумаги у него не было, ему и не требовалась. Наставник учил запоминать всё. «Бумага горит. Бумага мокнет. Бумага желтеет. Голова — нет». Наставник ошибался: голова тоже горела, мокла и желтела, только медленнее. Но пока она работала — она была надёжнее любого блокнота.

«Рост жертвы — сто восемьдесят два сантиметра». Александр встал. Выпрямился. Прикинул: затылочный бугор мужчины ростом сто восемьдесят два сантиметра находится на высоте примерно ста семидесяти сантиметров от пола — с поправкой на осанку, наклон головы, обувь. Удар был нанесён на два сантиметра ниже затылочного бугра — значит, точка приложения силы — приблизительно сто шестьдесят восемь сантиметров.

Он повернулся к правой стене. Поднял руку — вытянул её горизонтально, ладонью вниз, примерил высоту. Сто шестьдесят восемь. Его собственные глаза находились на высоте ста семидесяти трёх — он смотрел чуть вниз на воображаемую точку удара. Потолочная труба вентиляции проходила на ста семидесяти.

— Анна, — сказал он, впервые за этот цикл назвав её по имени — коротко, без отчества, знак не фамильярности, а концентрации: имя было короче номера, а каждая миллисекунда на счету, когда мозг одновременно считает, наблюдает и строит гипотезы. — Встань сюда. На место, где лежала голова. Лицом к фермам.

Анна шагнула к пятну. Встала — аккуратно, не наступая на тёмный центр. Повернулась. Лицом к дальнему концу коридора, где белый свет постепенно уступал место лиловому свечению гидропных ламп, как день уступает место сумеркам в мире, где ни дня, ни сумерек больше не существовало.

— Твой рост, — сказал Александр. Это был не вопрос.

— Сто шестьдесят семь, — ответила Анна.

Александр стоял позади неё. Смотрел на её затылок — тугой хвост тёмных волос, обнажённую шею, позвонки, проступающие под кожей, как бусины чётко. Затылочный бугор Анны находился примерно на ста пятидесяти пяти — пятидесяти шести сантиметрах. На двенадцать-четырнадцать сантиметров ниже, чем у потерпевшего.

Он поднял правую руку. Представил, что держит предмет — тяжёлый, весом в два-три килограмма. Чтобы ударить Анну по затылку, ему — ростом сто семьдесят четыре — нужно было просто опустить руку. Горизонтально или чуть вниз. Естественная траектория. Удар сверху — как молот.

Теперь — жертва. Рост — сто восемьдесят два. На шесть сантиметров выше его самого. Чтобы ударить человека ростом сто восемьдесят два по затылку «сзади», ему пришлось бы замахнуться чуть вверх. Неудобно, но исполнимо. А если нападавший был ниже? Значительно ниже?

Он снова присел на корточки. Посмотрел на пятно. Потом — вверх, на стену, на трубу вентиляции.

— Описание раневого канала, — произнёс он медленно, скорее для себя, чем для Анны. — «Два сантиметра ниже затылочного бугра, смещение на полтора сантиметра влево от срединной линии». Смещение «влево». Значит, удар нанесён правой рукой, справа — с учётом того, что потерпевший стоял спиной к нападавшему. Правая рука, замах справа, траектория — снизу вверх и справа налево.

Он замолчал.

«Снизу вверх.»

Эта деталь — два слова, геометрический факт — была ключом. Или одним из ключей. Удар «сверху вниз» — естественная механика для нападавшего равного или большего роста: замахнулся, опустил. Гравитация помогает. Мышцы работают в привычной амплитуде. Удар «снизу вверх» — неестественная механика. Замахнуться нужно ниже, от бедра или от пояса, и поднять руку к голове жертвы, преодолевая и вес предмета, и гравитацию, и неудобство угла. Так бьют, когда цель — «выше» тебя. Когда ты «не достаёшь» до неё иначе.

Мысль была простой, как формула. Но Александр не спешил её произносить. Простые мысли — самые опасные. Они создают иллюзию понимания раньше, чем понимание действительно наступает. Наставник учил: «Не торопись называть. Назовёшь — и перестанешь видеть. Мозг привяжется к названию, как собака к столбу, и начнёт бегать по кругу».

— Номер двадцать восемь, — сказал он, вставая. — Зафиксируй: предварительный анализ траектории удара. Направление — снизу вверх, справа налево. Угол возвышения — предположительно от пятнадцати до двадцати пяти градусов к горизонтали. Записала?

Анна уже писала. Карандаш — обточенный до четырёхсантиметрового огрызка, зажатый между указательным и большим пальцами, — летал по бумаге короткими, точными штрихами. Она не стенографировала — для этого потребовалась бы отдельная система символов, которой в Анклаве никто не разрабатывал. Она сокращала слова по собственному методу — первые две буквы плюс последняя, плюс цифры для дат и размеров, — и разбирала записи безошибочно, даже спустя сотни циклов. Александр видел её блокноты. Они были произведениями инженерного искусства — мелкие, плотные, ни одного зазора, ни одного потерянному квадратного миллиметра.

— Записала, — подтвердила она, не поднимая глаз от бумаги. И добавила — тем тоном, который Александр классифицировал как «осторожное предположение»: — Двадцать семь, если траектория — снизу вверх, а рост потерпевшего — сто восемьдесят два... то нападавший был существенно ниже его. На десять-пятнадцать сантиметров. Возможно, больше.

Александр не ответил. Вместо этого он сделал три шага назад — к повороту коридора, откуда, предположительно, подошёл нападавший. И посмотрел на пол.

Резиновое покрытие здесь было стёртым, но относительно чистым — обычная степень износа для коридора с умеренным трафиком. Однако у правой стены, в полутора метрах от пятна крови, Александр увидел нечто. Не увидел — «заметил». Периферийным зрением, тем самым «рассредоточенным фокусом», который наставник вколачивал в него годами.

Полоса. Тонкая, светлая, длиной в пять-шесть сантиметров. На тёмно-сером резиновом покрытии. Не царапина — «мазок». Что-то потёрлось о пол с небольшим давлением, оставив едва заметный след.

Он присел снова. Наклонился — лицо в тридцати сантиметрах от пола. Запах покрытия — резина, пыль, слабый привкус хлора от давней дезинфекции. Полоса. Как будто кто-то поставил на пол нечто с плоским основанием, и оно чуть сдвинулось — скользнуло — под собственным весом или от толчка.

— Двадцать возмая, — позвал он. — Подойди. Посмотри.

Она подошла. Присела рядом — плечом к плечу, — и Александр ощутил тепло её тела, непривычное в прохладе коридора, где температура держалась на девятнадцати градусах — ниже, чем в жилых секциях, потому что четвёртый уровень обогревался по остаточному принципу.

— След, — произнесла Анна. Голос — тихий, сосредоточенный, без энтузиазма. Профессиональный. — Длина — пять сантиметров. Направление — параллельно правой стене. Что-то тяжёлое ставили на пол и сдвинули.

— Или уронили, — добавил Александр. — И оно скользнуло.

— Расстояние от пятна крови?

— Метр сорок. Чуть ближе к повороту.

Анна записала.

Александр смотрел на след и думал. Предмет с плоским основанием. Тяжёлый — иначе не оставил бы следа на резине. Но не слишком тяжёлый — след неглубокий, поверхностный. Два-три килограмма? Может быть, четыре? Его поставили на пол — зачем? Чтобы перехватить удобнее? Чтобы подождать? Или уронили «после» удара — от испуга, от отдачи, от осознания того, что было сделано?

Метр сорок от пятна крови. Между пятном и этими следами — чистый пол. Значит, нападавший ударил, жертва упала, и нападавший «отступил». Отступил — или «отшатнулся». На полтора метра. А предмет — оружие? — оказался на полу в этой точке. Выронил. Положил. Уронил.

«Выронил.» Это слово задержалось в сознании. Человек, нанёсший удар достаточной силы, чтобы вызвать субдуральную гематому, но «выронивший» оружие сразу после, — это не человек, привычный к насилию. Это не тот, кто бьёт хладнокровно, расчётливо, с контролем. Это «импульс». Вспышка. Короткий пик ярости или отчаяния, за которым — мгновенный откат. Адреналиновый выброс, а за ним — дрожь в руках, тошнота, подкашивающиеся ноги.

«Удар снизу вверх — нападавший ниже. Оружие выронено после удара — нападавший не обладает физической силой или навыком. Добивания не последовало — хотя жертва была беспомощна. Нападавший испугался. Убежал.»

Профиль складывался. Пока — нечёткий, как изображение на мутной воде, — но складывался. Невысокий. Физически нетренированный. Не привычный к насилию. Правша.

Александр встал. Медленно прошёлся вдоль коридора — от следа к пятну, от пятна — дальше, к дальнему концу, где начинался переход к гидропонным секциям. Считал шаги. Семь до поворота. Двенадцать — до входной двери фермы. Кто бы ни убежал — он бежал к повороту. Не к ферме. К лестнице. Вверх. На третий уровень. К жилым секциям.

— Номер двадцать восемь, — сказал он, остановившись. — Есть ещё одна деталь, которая не укладывается.

Анна посмотрела на него. Карандаш замер над бумагой.

— Номер восемьдесят — педагог. Его рабочая зона — шестой уровень, учебные помещения. Его жилая зона — третий уровень, секция «Г». Маршрут «дом — работа» проходит по лестнице между третьим и шестым уровнями через второй, минуя четвёртый полностью. — Он помолчал. — Что педагог делал на четвёртом уровне, рядом с гидропонными фермами, в свободный цикл?

Вопрос повис в воздухе, как капля конденсата на потолочной трубе: не падая, но и не исчезая. Покачиваясь на границе между вопросом и ответом.

— Протокол не запрещает свободное перемещение между уровнями в свободный цикл, — осторожно сказала Анна.

— Не запрещает, — подтвердил Александр. — Но и не объясняет. Люди в Анклаве не «гуляют», номер двадцать восемь. Не бродят бесцельно. Каждое перемещение имеет причину: столовая, душевая, рабочая зона, жилая комната. Четвёртый уровень — технический. Здесь нет ничего, что было бы нужно педагогу в свободное время. Если только...

Он не закончил фразу. Не потому, что не мог, — потому что учил Анну заканчивать за него. Метод наставника, переданный по наследству, как ген, как мутация, как привычка.

— Если только его не пригласили, — сказала Анна.

Александр кивнул. Один раз. Коротко.

«Пригласили. Назначили встречу. На уровне, коридоры которого обычно пусты. Кто-то, кто знал его маршрут. Кто-то, кому он доверял.»

Он снова посмотрел на пятно. На следы от предмета. На стену. На потолок. На вентиляционную решётку в северо-восточном углу. Она была закреплена четырьмя винтами, из которых один был повёрнут иначе.

— Вентиляционный короб, — сказал он. — Его нужно осмотреть.

— Да, — ответила Анна и в её руке появился маленький фонарик. — Решётка — стандартная, двадцать на двадцать пять сантиметров. Четыре крепёжных винта: три — шлиц под сорок пять градусов, один, верхний правый — шлиц вертикально. Внутри — штатный воздухоход, диаметр двадцать пять сантиметров. Пыль. Без посторонних предметов. Без следов контакта. Равномерный слой. Вывод: решётку снимали «до» инцидента, вероятно, при последнем техническом обслуживании. Один из инженеров вентиляции не закрутил винт ровно.

Александр помолчал. Оценил. Вывод был логичным — недокрученный винт в техническом коридоре не был аномалией, это было «нормой». Инженеры вентиляции — четверо человек на весь бункер, номера шесть — девять, — обслуживали четыре шахты, десятки воздухоходов, сотни решёток. Они работали на износ, в прямом смысле: физический износ суставов, износ инструмента, износ внимания. Один неровный винт из тысячи — статистическая неизбежность, не улика. Александр сделал мысленную пометку: «проверить журнал техобслуживания четвёртого уровня», — и отложил. Но не отбросил. Он никогда не отбрасывал.

Следователь прошёлся обратно. Медленно. Осматривая стены — обе, сантиметр за сантиметром, на высоте от пола до вентиляционной трубы. Краска — серо-зелёная, матовая, облупившаяся, в нескольких местах — отслоившаяся пластами, обнажающая зернистый бетон. Царапины на левой стене — четыре горизонтальных, на высоте восьмидесяти — девяноста сантиметров, от тележек. Старые, затёршиеся. На правой стене — чище. Почти без повреждений. Только...

Он остановился. Прищурился.

На правой стене, на высоте приблизительно ста сорока пяти — ста пятидесяти сантиметров, — лёгкий, едва заметный мазок. Не краской — чем-то тёмным, бурым, размазанным. Длина — три сантиметра, ширина — около сантиметра. Горизонтальный. Как если бы кто-то коснулся стены плечом или локтем на ходу — быстро, мимолётно, не остановившись.

Сто сорок пять — сто пятьдесят сантиметров. Высота плеча человека ростом... сто пятьдесят пять — сто шестьдесят.

— Номер двадцать восемь, — сказал он тихо. — Правая стена. Метр сорок пять от пола. Видишь?

Анна подошла. Посмотрела. Наклонила голову. Потом — присела, чтобы разглядеть мазок под другим углом.

— Органика, — произнесла она. — Не краска. Тёмное, подсохшее. Предположительно — кровь. Или питательный раствор с гидропоники.

— Кровь, — сказал Александр. — Она на высоте ста сорока семи сантиметров. Если это гидропонный раствор, он был бы зелёным. Он — бурый. Как пятно на полу.

Анна записала. Координаты, высота, размер. Карандаш скрипел по бумаге — сухой, тонкий звук, похожий на шёпот.

— Высота — сто сорок семь, — повторила она, не поднимая головы. — Это... уровень плеча. Для кого-то невысокого.

Она не произнесла «кого-то ниже жертвы». Не произнесла «женщины». Она сказала «невысокого» — и Александр одобрил это мысленно. Точное слово. Нейтральное. Не создающее преждевременных конструкций.

Но картина уточнялась. Ещё немного — и из тумана проступит силуэт. Пока — только контур: невысокий, правша, физически нетренированный, испуганный собственным поступком. Кто-то, кому жертва доверяла настолько, чтобы прийти на четвёртый уровень в свободный цикл, и кто сам был в это время свободен. Кто-то, у кого был мотив — или то, что этот кто-то считал мотивом.

Мотив. Слово, которое в Анклаве имело особый вес. В мире, где ресурсы ограничены до последней калории, мотивом могло быть всё: лишняя порция, личная неприязнь, обида, рев-

ность, — или нечто более глубокое, более тёмное, более опасное, чем голод или страх. Нечто, что протоколы не предусматривали, потому что протоколы писали специалисты, а специалисты верили в системы, а системы не учитывали того, что делает человека «человеком»: иррациональности. Способности действовать вопреки собственным интересам. Способности ненавидеть того, кто ничего тебе не сделал. Способности любить того, кого тебе не назначили.

«Закон абсолютен, — говорил наставник, и в его свинцовых глазах не было сомнения. — Компромисс — смерть для всех».

Закон был абсолютен. Но люди — нет. И в этом зазоре — между абсолютным законом и относительным человеком — рождались преступления. Как плесень рождается в зазоре между бетонной плитой и резиновым покрытием: незаметно, тихо, неизбежно.

Александр провёл в этом коридоре ещё сорок минут.

Осмотрел каждый квадратный дециметр пола — от поворота до входа на гидропонные фермы. Проверил стены с обеих сторон, сверху донизу. Провёл пальцем по трубе вентиляции — пыль, обычная пыль, бетонная крошка и микроскопическая взвесь, которая оседала на всех горизонтальных поверхностях бункера. Осмотрел потолок — панели светодиодов, стыки, скобы крепления кабелей. Ничего. Коридор молчал — упрямо, бетонно, как молчат стены, видевшие всё и не сказавшие ничего.

Анна работала параллельно. Она осматривала пол у поворота — ту зону, через которую нападавший, предположительно, убегал. На резиновом покрытии — ничего: ни следов, ни мазков, ни вмятин. Покрытие не сохраняло отпечатков обуви — оно было слишком эластичным, пружинило, возвращало форму, как возвращается в исходное состояние резиновый жгут. Обувь в Анклаве была стандартной — ботинки на литой подошве, одного фасона, трёх размеров: малый, средний, большой. Даже если бы отпечаток сохранился, он мало что дал бы: размер «малый» носили и женщины, и некоторые мужчины, и подростки.

— Ничего, — сказала Анна наконец, поднимаясь с корточек и убирая карандаш за ухо — привычка, за которую наставник, будь он жив, непременно сделал бы ей замечание: «Инструмент — или в руке или в кармане». — Пол чист. Если нападавший уходил через поворот — следов не оставил. Покрытие... — она пожала плечами — жест, который позволяла себе только в присутствии Александра и только тогда, когда никто больше не видел, — покрытие не информативно.

— А стены у поворота?

— Чисто. Никаких мазков. Если нападавший касался стены — только чистой рукой.

Или — другой рукой.левой. Если правой он нёс предмет — оружие, — то стену мог задеть левым плечом. Но мазок крови на правой стене, тот, на высоте ста сорока семи, — был единственным. Значит, нападавший запачкался в момент удара: кровь брызнула на руку, на рукав. И потом, отшатнувшись, задел стену. Правым плечом. Или правым локтем. И побежал. И больше не коснулся ничего — потому что бежал по центру коридора, не задевая стен.

«Или потому, что спохватился. Прижал руку к себе. Спрятал.»

Александр остановился посреди коридора. Закрыв глаза.

Это была его техника — не заимствованная у наставника, а собственная, выработанная за годы: закрыть глаза и «слушать» место. Не ушами — всем телом. Почувствовать пространство. Его объём, его давление, его запах, его дыхание. Лишённый зрения, мозг обострял остальные каналы: слух, обоняние, тактильность, проприоцепцию — ощущение собственного тела в пространстве. Коридор становился не набором визуальных деталей, а «средой». Средой, в которой произошло событие.

Гул вентиляции — неизменный, ровный. Конденсат — *тк... тк...* — где-то впереди, у перехода к фермам. Тёплый, влажный воздух с четвёртого уровня поднимался вверх, к потолку, и здесь, в коридоре, где температура была ниже, конденсировался. Запах: озон, хлор,

аммиак — стандартный набор. Но под ним — что-то ещё. Слабое, почти неощутимое. Он втянул воздух медленно, через нос, держа рот закрытым.

Металл. Не кабельный, не трубный — другой. Пыльный. Старый. Как запах монеты, пролежавшей в ящике десятилетия.

Он открыл глаза.

Ничего нового. Тот же коридор. Те же стены. Тот же свет. Но запах был — и он его «зафиксировал». Может быть, это ничего не значило. Может быть — значило всё. Металлический предмет, стоявший на полу в полутора метрах от жертвы. Тяжёлый. С плоским основанием.

Что могло оставить такой след? Что весит два-три килограмма? Что сделано из металла — или из чего-то, что «пахнет» металлом? Что могло оказаться на четвёртом уровне бункера, в техническом коридоре рядом с гидронными фермами, в руках человека, пришедшего сюда с единственной целью?

Он не знал. Пока — не знал. И это было нормально. Расследование — не вспышка озарения. Расследование — это капельное орошение гидронной грядки: медленная, мерная подача фактов в корневую систему гипотезы, пока она не прорастёт сама.

— Резюмирую, — сказал Александр, повернувшись к Анне. — Первое: нападавший, с высокой вероятностью, значительно ниже потерпевшего. Траектория удара — восходящая. Мазок на стене — на высоте ста сорока семи сантиметров, уровень плеча человека ростом не выше ста шестидесяти. Второе — оружие. Характер следов на полу указывает на предмет с плоским основанием. Третье: орудие было выронено или поставлено на пол в полутора метрах от жертвы — нападавший не нанёс повторного удара. Четвёртое: место нападения. Потерпевший пришёл сюда не по рабочей необходимости — значит, был приглашён.

Он помолчал. Анна записывала, не поднимая глаз. Карандаш скрипел — тихо, ритмично, как шаги по резиновому покрытию.

— Пятое, — добавил Александр, и голос его стал на полтона ниже. — Нападавший знал потерпевшего лично. Знал достаточно хорошо, чтобы назначить встречу, которую тот принял. Знал расписание циклов. Но не обладал опытом насилия — удар был единственным, сила — недостаточной для летального исхода, оружие — выронено. Это... — он подбирал слово, как подбирают реактив для точной реакции, — «личное». Не саботаж. Не борьба за ресурсы. Не конфликт номеров. Что-то между двумя людьми. Двумя конкретными людьми.

В Анклаве, где каждый человек был функцией, а каждый номер — координатой в уравнении выживания, слово «личное» звучало как аномалия. Как сбой в вентиляции. Как скачок CO₂. Как трещина в стене, сквозь которую просачивается не воздух, а нечто, что не предусмотрено протоколом и не поддаётся фильтрации. Личное — значит иррациональное. Иррациональное — значит непредсказуемое. Непредсказуемое — значит опасное.

Закон был абсолютен. Но люди — люди были жидкостью, текущей по трубам закона: подчинявшейся давлению, следовавшей руслу, но неизбежно ищущей трещину, сквозь которую можно просочиться. И когда жидкость находила трещину — система давала течь. И задача следователя была не в том, чтобы заделать трещину — это делали инженеры. Задача была — найти, «где» она. Прежде чем давление разорвёт трубу.

Александр посмотрел на Анну. Она закончила запись, подняла глаза. Зелёные, яркие, слишком живые для этого места — как зелень спироулины, которая не должна была расти без солнца, но росла. Вопреки. Назло. По расчёту.

— Мы закончили здесь, — сказал он. — Следующий шаг — потерпевший. Номер восемьдесят. Он в лазарете.

Анна убрала блокнот в нагрудный карман комбинезона — левый, всегда левый, бумагой к телу, — и встала. Карандаш — из-за уха в карман, быстрым движением, как прячут нож в ножны.

— Думаете, он уже пришёл в себя? — спросила она.

— Надеюсь, — ответил Александр. — Но, даже если нет, есть способы допросить человека, даже когда он без чувств. Его тело, одежда, имущество... Всё это как страницы с ранними набросками. Один из них вполне может стать основной деталью произведения.

Он шагнул к повороту. Анна — за ним, на полшага позади. Охранник давно ушёл. Коридор был пуст — шестнадцать метров бетона, стали и резины, освещённые безжалостным светом в четыре тысячи кельвинов, пахнущие озоном, хлором и старой кровью, которую не смыл даже хлор.

Пятно осталось на полу. Тёмное, неровное, впитавшееся. Как память. Как след. Как доказательство того, что даже здесь — в последнем убежище, в каменном чреве горы, в системе, рассчитанной до последней калории и последнего кубического сантиметра кислорода, — человек оставался человеком. Со всем, что это подразумевало.

С любовью. С ненавистью. С кровью.

Глава 4. Вся жизнь — урок

Их шаги — его мерные, её лёгкие — отозвались от стен коротким, сухим эхом и растворились в гуле вентиляции, как растворяется всё в этом месте: звуки, запахи, годы, люди. Бункер дышал. Бункер ждал. Бункер не торопил и не прощал. Он просто продолжал существовать — равнодушно, механически, неостановимо, — как часы, которые некому завести, но которые идут.

Потому что так требует Анклав.

Лестница вверх была той же лестницей, по которой они спускались, — и совершенно другой. Как одна и та же река, если плыть против течения. Ступени — рифлёный AR500, — встречали ноги иначе: при спуске тело отдавалось гравитации, позволяя ей нести себя вниз, и каждый шаг был уступкой, капитуляцией; при подъёме — каждый шаг был завоеванием. Мышцы бедра сокращались, толкая вверх шестьдесят восемь килограммов массы, и Александр чувствовал это сопротивление как нечто большее, чем физику: он поднимался из тёплого, влажного, хлорофиллового нутра четвёртого уровня в сухой, прохладный, жёсткий мир верхних этажей — из чрева машины к её мозгу.

Воздух менялся с каждым пролётом. Влажность отступала — семьдесят, шестьдесят пять, шестьдесят процентов — и с ней уходил густой травяной привкус питательных растворов, замещаясь знакомым коктейлем: озон, хлор, металл. Температура тоже снижалась — двадцать два, двадцать один, двадцать — и кожа отзывалась мгновенно, покрываясь микроскопическими мурашками, которых Александр уже не замечал. Тело знало этот градиент наизусть, как музыкант знает интервалы: четвёртый уровень — тепло и влажно, третий — нейтрально, второй — сухо и прохладно. Температурная шкала бункера, заменявшая времена года. Единственное изменение среды, доступное органам чувств. Остальное — свет, звук, давление — оставалось постоянным, как математическая константа.

Перила под ладонью были холоднее, чем внизу. Конденсат на стальной трубе высох — воздух верхних уровней был суше, рециркуляторы работали агрессивнее, вытягивая лишнюю влагу, которая на нижних уровнях питала гидропонику, а здесь, наверху, угрожала электронике, кабельным стыкам, контактными группам. Пальцы Александра скользили по отполированной поверхности, ощущая микрорельеф — бороздки, оставленные чьими-то ногтями, вмятину от удара (кто-то ударил перила кулаком?), едва заметная неровность — капля припоя, запаявшая трещину в сварном шве. «Метка» сварщика, латавшего бункер, как хирург латает тело: шов за швом, стык за стыком, не давая ему развалиться.

Анна поднималась следом. Её шаги — лёгкие, пружинистые — звучали иначе, чем его: у неё был меньший вес и привычка ставить ногу на переднюю часть стопы, как ставят её те, кто учился бесшумному перемещению. Учился — или научился интуитивно, потому что в бункере, где стены отражали каждый звук даже сквозь резиновое покрытие, громкий шаг был почти неприличием. Так ходили охранники — нарочито тяжело, печатая каждый удар подошвы, как ставят печать на приказ. Остальные — тихо. По краям. Стараясь занять как можно меньше пространства. Как можно меньше — воздуха, времени, места.

Ритмичный стук подошв о ступени действовал на мысль: упорядочивал, задавал темп, не давал разбегаться. Александр пользовался этим. Каждый раз, когда дело набирало массу — свидетельства, улики, наблюдения, предположения, — он позволял себе несколько минут механического движения, во время которого мозг раскладывал собранное по полкам, как интендант раскладывает запасы: вот это — подтверждённое, сюда; вот это — вероятное, туда; вот это — неизвестное, в отдельный ящик, на потом.

Место преступления. Коридор четвёртого уровня рядом с гидропонными фермами. Мёртвая зона камер наблюдения — тот, кто выбрал это место, либо знал об этом, либо ему

повезло. Удар — сзади, снизу вверх, справа налево. Нападавший — значительно ниже жертвы. Правша. Физически нетренированный: единственный удар, оружие выронено или оставлено на полу, повторного удара не последовало. Предмет с плоским основанием, вес — два-три килограмма, металл или что-то, пахнущее металлом. Мазок крови на правой стене, высота сто сорок семь сантиметров — уровень плеча для кого-то ростом не выше ста шестидесяти. Жертва пришла сюда добровольно — маршрут не совпадает с рабочим или бытовым. Значит — приглашена. Кем-то, кому доверяла.

Разговор с Корнеем Ивановичем. Номер семьдесят восемь. Педагог. Наставник жертвы.

Александр перебрал его фразы, как перебирают чётки — если бы в Анклаве были чётки. «Хороший специалист. Усердный. Я сам его готовил». Профессиональная оценка — или нечто большее? Связь наставника и ученика в Анклаве была прочнее многих других: система не ошибалась в назначениях, и, если Корней Иванович лично вёл номер восемьдесят через стажировку, значит, знал его привычки, слабости, страхи, маршруты. Знал, куда тот ходит в свободные циклы. Знал, зачем. «Если чем он и мог вызвать чью-то злобу — то разве что своей требовательностью к ученикам. Он не терпел лени. Не прощал невнимательности. Я учил его — быть таким». Слова наставника, снимающего с себя ответственность? Или слова наставника, берущего её на себя — косвенно, через гордость?

Старик назвал потерпевшего «Денис Маратович». Полное имя, полное отчество. Не номер восемьдесят. Не «потерпевший». Имя, данное родителями. Для человека, родившегося до катастрофы и помнившего мир, где людей звали по имени, это могло быть привычкой — рефлексом, не несущим смысловой нагрузки. Но могло быть и жестом — маленьким, мирным, ненаказуемым актом неповиновения, направленным лично ему, Александру, следователю, который предпочитал номера именам. Александр зафиксировал это, но не стал присваивать оценку. Жест — не улика. Жест — данные. Данные ждут контекста.

Рукопись. Десятки страниц убористого почерка. «Это не просто литература. Это — история. Её нужно знать. Забыть — значит повторить». Красивая фраза. Убедительная. Но ведение хроники — обязанность координатора-архивариуса, номера четыре, а не педагога. Зачем Корней Иванович тратил на неё свои свободные циклы, дефицитную бумагу, самодельные чернила? Из идеализма? Из чувства долга, которое не умещалось в рамки присвоенной функции? Или из потребности контролировать «нарратив» — определять, что именно потомки будут знать о прошлом и как именно будут это оценивать?

Александр не мог ответить. Пока — не мог.

И — последнее. То, что лежало не в области расследования, а в области контекста, но от этого не становилось менее важным, ибо позволяло расширить портрет личности человека.

Корней Иванович в своё время отказался от места в Правящем Совете.

Об этом в Анклаве знали все — из той негромкой устной истории, которая передавалась не через журналы учёта, а через полушёпот в столовой, через оговорки старожилов, через случайные фразы, произнесённые между циклами. Совет предложил ему должность — педагог с полувековым стажем, подготовивший десятки специалистов, некоторые из которых заседали в самом Совете, был очевидным кандидатом. Старик отказался. Просто и прямо. Сказал, что не хочет лишиться времени на преподавание. Что учить — «важнее».

Александр допускал, что это правда. Более того — допускал, что это «чистая» правда, без примеси расчёта, без второго дна. Человек, родившийся до катастрофы, помнивший солнечный свет и звук дождя по жестяному подоконнику, мог сохранять в себе осколки той, старой морали, которая ценила призвание выше власти. Мог любить своё дело не потому, что оно давало статус, а потому, что оно было — его. Единственное, что он выбрал сам в мире, где свобода выбора была упразднена как непозволительная расточительность.

И всё же — Александр не отбрасывал и другое. Отказ от кресла в Совете не означал отказ от влияния. Педагог, три десятилетия формировавший специалистов, не «управлял» Анкла-

вом. Он делал больше — он создавал тех, кто будет управлять. Его ученики занимали ключевые посты. Его методы определяли, как думают люди, от которых зависело выживание. Влияние — не вертикальное, как власть, а горизонтальное, как корневая система, пронизывающая почву. Может быть, старик этого не сознавал. А может — сознавал и предпочёл именно такую форму. Менее заметную. Менее уязвимую.

Наставник говорил: «Жавер не подозревал. Жавер — знал. Разница между диагнозом и предчувствием: предчувствие делает тебя уязвимым, диагноз — даёт оружие». Александр пока не знал. И потому — не подозревал. Он наблюдал.

Площадка третьего уровня. Шлюзовая дверь — тяжёлая, стальная, с пневматическим приводом, который зашипел при их приближении. Створка отъехала вбок, впуская их в жилую зону.

Третий уровень был другим.

Не по конструкции — стены, потолок, покрытие пола были теми же, что и на четвёртом, и на пятом, и на любом другом: бетон, сталь, резина, свет. Но «наполнение» менялось. Здесь были люди. Не одиночные фигуры, целеустремлённо движущиеся по заученным маршрутам при смене цикла, как на технических уровнях, а — «поток». Негустой, упорядоченный, подчинённый невидимым правилам движения, которые никто не писал, но все соблюдали: правая сторона коридора — вперёд, левая — назад. Медленнее — ближе к стене. Быстрее — ближе к центру. Не останавливаться в проходе. Не создавать заторов. Не касаться встречных. Правила, выведенные не протоколом, а теснотой. Тридцать лет совместного существования в пространстве, где на человека приходилось десять квадратных метров жилья, выточили из толпы — механизм. Не толпу — «поток». Ламинарный, слоистый, как жидкость в трубе при ровном течении. Стоило кому-то ускориться, замедлиться, остановиться — и ламинарность ломалась, поток становился турбулентным, и люди, до этого двигавшиеся бесшумно, начинали задевать друг друга плечами, спинами, локтями, и каждое касание несло в себе крошечный заряд раздражения, как статическое электричество в сухом воздухе.

Мимо прошёл номер сорок четыре — химик. Александр узнал его не по браслету — по запаху. Уксусная кислота и что-то ещё, горьковатое, с тяжёлой, маслянистой нотой — следы дневной работы в лаборатории на пятом уровне, вьёвшиеся в ткань комбинезона так глубоко, что никакая стирка не могла их вытравить. Химики пахли своей профессией, как рыба пахнет водой: неотделимо, навсегда, до самой смерти и после неё. Сорок четвёртый шёл быстро, чуть сутулясь, прижимая к боку нечто завернутое в тряпку — вероятно, колбу или мерный цилиндр, который нёс с пятого уровня на второй, в медблок. Синтез не прекращался ни на цикл: химики гнали из картофельных отходов и водорослей всё, что требовалось для выживания, — от дезинфицирующих растворов и лекарств до удобрений. Каждая молекула — на вес человеческой жизни.

Дальше — женщина с ребёнком. Мальчик лет пяти-шести, державшийся за её руку, — точнее, за её указательный палец, потому что вся ладонь была занята пластиковым контейнером с чем-то тёмно-зелёным. Спирулина. Контейнер на ужин или на завтрак — здесь не было разницы, потому что здесь не было ни ужина, ни завтрака, а было только «приём пищи между рабочими циклами». Мальчик шагал сосредоточенно, глядя себе под ноги, — и на его тонкой детской лодыжке мерцал браслет. С номером, который Александр не успел разглядеть. Но он знал: этот номер уже определил всю жизнь мальчика. Его профессию, его расписание, его ценность в уравнении. Мальчик ещё не понимал этого. Он просто шёл, держась за мамин палец, и смотрел на свои ботинки. Так требует Анклав — даже от тех, кто ещё не знает, что такое «Анклав».

— Двадцать семь, — негромко произнесла Анна, чуть ускорив шаг, чтобы поравняться с ним. Она заговорила вполголоса — не шёпотом, но с той приглушённой, которая в бункере заменяла конфиденциальность. Даже сквозь резиновое покрытие, гасившее основные шумы, в

узких коридорах голос добирался до чужих ушей быстрее, чем до собственного сознания. — Корней Иванович. Когда вы сообщили ему о нападении — он не спросил о состоянии номера восемьдесят.

Александр не повернул головы. Но мысленно — отметил. Как ставят точку на карте: неброско, но в нужном месте.

— Продолжай.

— Он назвал его «хорошим специалистом». Сказал, что сам его готовил. Объяснил, чем тот мог вызвать чью-то злобу. Но ни разу — ни одного слова — о его самочувствии. Не спросил, в сознании ли он. Не спросил, насколько серьёзна травма. Не спросил, будет ли он жить. — Она помолчала. Полсекунды. — Наставник, который лично вырастил ученика, обычно спрашивает.

Тишина. Четыре шага. Резиновое покрытие глотало звук, оставляя только дыхание и далёкий гул вентиляции.

— Или не спрашивает, — сказал Александр ровно, — если уже знает ответ. Новости в Анклаве распространяются быстрее вентиляционного потока. Весь третий уровень, вероятно, знал о нападении задолго до нашего визита. Корней Иванович мог побывать в лазарете до разговора с нами. Мог слышать от медперсонала. Мог узнать от кого угодно.

Он не добавил: «Или мог не спросить по иной причине». Не потому, что не подумал об этом. Потому что произнести — значило зафиксировать. А зафиксированное превращалось в версию, которая начинала притягивать к себе факты, как магнит стружку, — даже те факты, которые к ней не относились.

— Проверим, — добавил он. — В лазарете есть журнал посещений. Если номер семьдесят восемь заходил к потерпевшему до нашего разговора — мы это увидим.

Анна кивнула. Карандаш мелькнул из кармана в руку и обратно — быстрое, почти незаметное движение пальцев, привычка перебирать предметы, когда мысль опережала слова. Александр замечал это каждый раз. Но не указывал — пока. Не сейчас. Не на ходу. Когда придёт время, он научит её контролировать руки, как наставник научил его контролировать взгляд. Руки — это текст, который читают собеседники, свидетели, подозреваемые. Неконтролируемые руки — это открытая книга. А следователь должен быть закрытой.

Они миновали пересечение коридоров — Т-образный перекрёсток, где жилой сектор «В» стыковался с магистральным проходом к центральному залу. Здесь было чуть просторнее: потолок приподнимался на двадцать сантиметров — до двух тридцати, — и Александр непроизвольно выпрямился, как выпрямляется пловец, вынырнувший из-под низкого свода затопленной пещеры. Двадцать сантиметров — ничтожная величина в мире, где расстояние до ближайших звёзд измерялось световыми годами. И целая вселенная — в мире, где расстояние от макушки до потолка определяло осанку, настроение и степень клаустрофобии.

Справа — дверь с табличкой «Рекреационная зона». Из-за неё доносился тихий голос — кто-то читал вслух. Александр уловил обрывок: «...и давление в сосуде...» — учебник термодинамики или гидравлики, зачитываемый монотонно, без интонаций, без пауз, как молитву. Здесь, в рекреационной зоне, стояли стеллажи с книгами — учебники, справочники, энциклопедии, а также десятки разнородных томов, привезённых жителями при эвакуации: романы, сборники стихов, детские книжки, справочники по садоводству и кулинарии — осколки прежнего мира, затесавшиеся среди технической литературы, как полевые цветы среди арматуры. Некоторые из них читали вслух. Один читает — десять слушают. Экономика знаний, доведённая до предела.

Наставник хранил свой экземпляр «Отверженных» отдельно. Не на стеллаже — в нагрудном кармане, обложкой к телу, как носят документ с грифом «совершенно секретно». Книга за годы приняла форму его груди, изогнулась, обмякла, стала продолжением тела — как становится продолжением руки инструмент, которым работаешь каждый день. Он не давал её никому. Не из жадности — из страха. Страх, что чужие руки сломают корешок, перетянутый

изолентой цвета хаки, помнут страницу с пометкой на полях, сотрут карандашное подчёркивание под словами, которые он считал важнее воздуха. Это была единственная вещь, которую он выбрал сам — не назначенная Советом, не вычисленная протоколом. «Избранная». Свободно. В мире, где свобода была упразднена, этот выбор — зачитанная до дыр книга, спрятанная у сердца, — был последним рубежом человеческого.

И уроки наставника — жёсткие, точные, как калибровка прибора — тоже были продолжением этой книги. Каждый метод, каждый приём, каждое правило — корнями уходили в «Отверженных», в философию Жавера, в убеждение, что закон не нуждается в оправдании, потому что закон — и есть оправдание.

Однажды — Александру было тогда четырнадцать, и браслет ещё был на лодыжке, и мир ещё казался не таким безвыходным, как окажется потом, — наставник разложил перед ним пять предметов. Прямо на столе в комнате для допросов. Плоский камешек размером с фалангу большого пальца, алюминиевый черпак со сплюсненной ручкой, кусок мыла (самодельного, из рыбьего жира — скользкого, мутно-жёлтого, пахнувшего тиной), карандаш и пустую ампулу из-под физраствора. Пять предметов — в ряд, как улики на опознании.

— Расскажи мне, — сказал наставник. Голос — тот самый, свинцово-ровный, от которого хотелось сесть прямее. — Расскажи мне о человеке, который держал эти вещи.

Четырнадцатилетний Александр растерялся. Он смотрел на предметы и не видел ничего, кроме предметов. Камень — минерал. Черпак — кухня. Мыло — гигиена. Карандаш — письмо. Ампула — медицина. Пять предметов, пять функций — и полное непонимание того, что от него требуется.

Наставник ждал. Терпеливо, как ждёт капкан. Потом — через минуту или две, которые показались вечностью, — взял камешек и положил его на ладонь перед глазами Александра. Близко, в десяти сантиметрах от зрачков.

— Смотри, — сказал он. — Не на камень. На камень ты уже посмотрел. Смотри на «след», который человек оставил на камне.

Александр прищурился. Серый гранит — обычный хибинский гранит, каких полно на технических уровнях, где стены не везде покрыты штукатуркой. Вкрапления слюды поблёскивали под лампой. Но камень был необычным. Одна сторона — гладкая, почти отполированная, с мягким восковым блеском, какого не бывает у необработанного минерала. Другая — шершавая, природная. На гладкой стороне — едва заметная ложбинка, вытертая посередине, плавная, повторяющая форму подушечки пальца.

— Его носят в кармане, — сказал Александр. — И трогают. Часто. Трут пальцем. Одну и ту же сторону.

— Дальше.

— Ложбинка... она справа от центра. Большой палец. Правой руки. Правша.

— Дальше.

Александр замолчал. Повертел камень. Поднёс к носу — и уловил. Слабый запах, ввевшийся в микропоры гранита. Рыбный. Тинистый. Тот самый, от которого невозможно отмыться, если работаешь с ним каждый цикл.

— Рыбий жир, — сказал он. — В порах камня. Руки этого человека пахнут рыбой. Постоянно. Он... работает с тилапией? Аквапоника? Или...

— Или? — наставник чуть приподнял бровь. Редчайший жест — землетрясение на его каменном лице.

— Или кухня. Разделка рыбы. Жир въедается в кожу, кожа трогает камень, жир переходит в камень. Каждый цикл, цикл за циклом. Годами.

— Годами, — наставник кивнул. Единственный раз за весь урок. Один кивок — высшая награда, равноценная ордену в мире, где орденов не существовало. — Камень отполирован не за неделю и не за месяц. Это — годы ношения. Тысячи прикосновений. Человек носит его в

правом кармане, вынимает при каждом удобном случае, перебирает пальцами. Это не инструмент. Это не украшение. Это — привычка. Самоуспокоение. Так делают люди, которые не справляются с тревогой, но не могут позволить себе её показать. — Наставник забрал камень. Положил обратно. — Повар, который годами носит в кармане гладкий камешек и трёт его пальцем, — «боится». Чего — мы не знаем. Но знаем, что боится давно и постоянно. Слюда стёрта только с правой стороны — значит, он не вертит камень, а «держит». Одним хватом, одним движением. Одна и та же точка, одна и та же ложбинка, один и тот же палец. Ритуал.

Он взял черпак, повернул рукоятку к свету.

— Смотри: рукоятка отполирована слева сильнее, чем справа. Вмятина от большого пальца — глубже с левой стороны. Левая рука — рабочая. Привыкла к тяжёлым кастрюлям, к перемешиванию густых каш, к подъёму контейнеров с припасами. Правая — ведущая, но левая — сильнее. Мыло он использует экономно — обрезок сточен неравномерно, он трёт только ладони, не всё тело. Это значит, что он бережёт мыло. Либо у него есть кто-то, кому он отдаёт свою долю, либо он выменивает мыло на что-то другое. Карандаш — коротко заточен, под острым углом, нажим сильный: он привык к быстрым записям в условиях плохого освещения. Ампула пустая, но — принимайся. Что чувствуешь?

Александр поднёс ампулу к носу. Слабый, спиртовой, чуть горьковатый.

— Не физраствор, — сказал он. — Что-то другое.

— Спирулиновый экстракт, — сказал наставник. — Из медицинских запасов. Ампула не должна быть у повара. Она должна быть у медперсонала. Значит — либо кража, либо бартер. И то, и другое — нарушение. — Он выдержал паузу — ту самую, хирургически точную, которой учил пользоваться и Александра. — Один предмет — одна история. Пять предметов — «жизнь» человека. Выучи это, двадцать седьмой. Вещи не лгут. Люди — лгут. Вещи — «никогда».

Этот урок Александр помнил с точностью фотопластинки, проявленной в тёмной комнате. Каждую деталь. Каждое слово. Каждый нюанс запаха — рыбий жир, мыло, экстракт. И камень. Гладкий камень, который рассказал о человеке больше, чем тот рассказал бы сам. Урок, который определил его метод: начинать не с людей, а с вещей. Не со слов, а со следов. С отполированных граней и вытертых ложбинок.

Именно поэтому ему нужно было попасть в лазарет. Не только к потерпевшему — к его вещам. Одежда, в которой он был найден. Обувь. Содержимое карманов, если карманы были. Браслет — показатели, записанные в момент удара. Всё, что тело и вещи расскажут без единого слова.

Лестница на второй уровень. Вверх. Ещё один пролёт — двадцать четыре ступени, стёртые, знакомые. Ступени, которые Александр мог пересчитать с закрытыми глазами. Двенадцать до площадки, поворот на сто восемьдесят градусов, ещё двенадцать. Вибрация перил — мелкая, постоянная, передаваемая от генераторов через несущий каркас.

Между пролётами — площадка. Александр остановился.

Не из-за усталости — усталость была привычной, фоновой, как гул вентиляции. Он остановился, потому что вспомнил.

Ему было шесть. Может быть, семь — возраст размывался в памяти, как буквы на подмокшей странице, потому что в бункере годы не имели лица, а циклы не имели цвета. Он был один. «Один» в Анклаве — состояние почти невозможное. Восемьдесят четыре человека в трёх тысячах квадратных метров — кто-то всегда был рядом, за стеной, за углом, за спиной. Но Александр был один. Потерялся. Выскользнул из «детской группы» на шестом уровне — дверь не защёлкнулась, механизм пневматики заедал, инженеры ещё не починили — и пошёл. Просто пошёл, ведомый тем безрассудным любопытством, которое в бункере было не просто бесполезным, а опасным, как оголённый провод на мокром полу.

Коридоры были одинаковыми. Все. Каждый. Стены — бетон, серо-зелёная краска. Потолок — двести десять сантиметров, для шестилетнего — бесконечно высокий. Трубы. Лампы. Двери с номерами. Он шёл и шёл — через один коридор, через другой, через третий, — и каждый был точной копией предыдущего, и каждый следующий был точной копией текущего, и мир вокруг превратился в зеркальный лабиринт без зеркал, где отражением служил сам коридор, повторённый бесконечно, как число, разделённое на ноль. Маленькие ноги в ботинках — малый размер, единственный, какой нашёлся — ступали по резиновому покрытию, и мир был «тихим», и в этой тишине не было ориентиров. Ни звука, за которым можно было бы пойти, ни голоса, к которому можно было бы прислушаться. Только гул вентиляции — одинаковый всюду, везде, всегда, — и собственное дыхание, и стук собственного сердца, который становился всё громче, потому что всё остальное молчало.

Страх пришёл не сразу. Сначала было удивление — мир был «большим», гораздо больше, чем комната, которую он знал, больше, чем учебный зал, чем столовая. Потом — интерес: он трогал стены, проводил пальцами по шершавому бетону, считал лампы (четыре... пять... шесть...), разглядывал таблички на дверях (цифры он уже знал: «5-В», «5-Г», «4-А»). Потом — тревога: коридоры не кончались, двери не открывались, люди не появлялись. Он был на пятом уровне, потом — на четвёртом, потом — он не знал, на каком. Везде было одинаково. Свет не менялся. Запах не менялся. Тишина не менялась.

А потом — страх. Настоящий, физический, от которого свело живот и подкосились колени. Он стоял в каком-то коридоре — не помнил, каком, — и понял, что не знает, куда идти. Что каждый шаг вперёд — это шаг от дома. И каждый шаг назад — тоже шаг от дома. Потому что дома «не было». Был только бункер. Бесконечный, одинаковый, безликий бункер, который проглотил его, как проглатывает кит планктон — без усилия, без намерения, без интереса.

Он сел на пол. Подтянул колени к груди. И заплакал — тихо, беззвучно, так, как плачут дети, которые уже знают, что кричать бесполезно.

Его нашли через двадцать минут. Его мать. Она шла быстро — почти бежала, но не бежала, потому что бег в коридорах был запрещён, и даже материнский ужас не мог преодолеть правило, въевшееся в нервную систему, как соль въедается в стены. Она присела перед ним. Её руки — тёплые, шершавые, пахнувшие хлоркой и аммиаком (она работала в секторе водочистки) — обхватили его лицо, и он уткнулся в её ладони, и мир перестал быть лабиринтом. Мир стал — ладонями. Тёплыми, солёными от пота, с мозолями на кончиках пальцев, с трещинами на фалангах от постоянного контакта с дезинфицирующими растворами. Она ничего не сказала. Просто подняла его на руки — он был лёгким, все дети бункера были лёгкими, — и понесла обратно. И по дороге напевала — почти беззвучно, одними губами, мелодию, которую он не мог вспомнить, как ни старался. Мелодию без слов, без названия. Может быть, колыбельную. Может быть — что-то из того мира, которого он никогда не видел. Мелодию, принесённую с поверхности, как семя, которое прорастёт в темноте, но никогда не увидит солнца.

Эта мелодия была последним, что он помнил о матери.

Она умерла через год. Интоксикация хлором — дозатор дал сбой, концентрация подскочила вчетверо, и за ночь водоочистка превратилась в газовую камеру. Трое погибших. Номер — впрочем, он помнил не номер. Он помнил ладони. И мелодию, которую не мог напеть.

Александр открыл глаза.

Он стоял на площадке между этажами, правая рука на перилах, левая — в кармане комбинезона. Анна стояла рядом. Молча. Она не спрашивала, почему он остановился. Может быть, она знала. Может быть — догадывалась. Может быть — просто ждала, потому что ждать было частью её обучения. «Жди, — учил он её в первые дни стажировки, повторяя слова наставника, как повторяют эхо. — Жди, пока старший думает. Не перебивай мысль. Мысль — как химическая реакция: прервёшь — получишь не тот продукт».

Он убрал руку с перил.

— Идём, — сказал он коротко.

Глава 5. Лазарет

Второй уровень встретил их иначе.

Здесь было тише. Не абсолютная тишина — такой в бункере не существовало, — но «сниженная громкость»: меньше шагов, меньше голосов, меньше лязга. Второй уровень был медицинским — лазарет, операционная, аптечный склад, изоляторы. Территория, где звук считался помехой, как помехой считается вибрация в лаборатории точных измерений. Стены были обшиты звукоизоляционной пробкой — тонкой, в пять сантиметров, но достаточной, чтобы приглушить гул вентиляции до едва уловимого шелеста. После жилого уровня это ощущалось как погружение в воду: мир становился ватным, мягким, глуховатым.

Свет тоже был другим. Те же четыре тысячи кельвинов, но здесь лампы были утоплены глубже в потолок, прикрыты матовыми рассеивателями, и свет падал не отвесно, а распределённо, создавая ровную, бестеневую освещённость, при которой зрачок расширялся чуть больше, чем обычно. Медицинский свет — свет, при котором хирург не промахнётся мимо сосуда, а медсестра не перепутает ампулу. Свет, исключаяющий ошибку. Или — стремящийся исключить.

Запах — спирт. Не тот спирт, который гнали из картофельных отходов для экстракции препаратов. Другой: чистый, медицинский, обжигающий ноздри изнутри, как щёлочь обжигает кожу. Запах, от которого автоматически выпрямлялась спина и замедлялся шаг, потому что спирт означал — «медицину», а медицина означала, что чьё-то тело перестало справляться, а тело, переставшее справляться, — это брешь в системе, которую остальным восьмидесяти трём придётся затянуть собой.

— Номер двадцать восемь, — произнёс Александр, не замедляя шага. — Когда войдём в лазарет — ты осмотришь вещи потерпевшего. Одежда. Обувь. Содержимое карманов. Всё, что было при нём. Я буду говорить с персоналом.

— Понятно, — ответила Анна. Кратко. Без вопросов. Это Александра устраивало: в бункере вопрос, не заданный вовремя, стоил дешевле, чем вопрос, заданный не к месту. Анна это усвоила.

Но через три шага она всё-таки сказала — и Александр почувствовал, как натянулась невидимая нить между «стажёром, выполняющим указание» и «человеком, который думает»:

— Если потерпевший придёт в себя — он ведь расскажет, кто его ударил. Может быть, всё это расследование закончится одним вопросом.

Александр качнул головой. Едва заметно — на два градуса вправо, на два обратно.

— Закрытая черепно-мозговая. Субдуральная гематома. Удар в затылочную область. — Он перечислял сухо, как зачитывают показания дозиметра. — Ретроградная амнезия при таких травмах — не исключение, а правило. Он может не помнить последних минут. Может не помнить последних часов. Может помнить всё — но помнить неправильно, потому что мозг заполнит лакуны тем, что «похоже» на правду, но ею не является. Показания жертвы с ЧМТ — ненадёжнее всего, что есть в расследовании.

Пауза.

— Поэтому — вещи, — добавил он. — Вещи не забывают. И не «вспоминают» того, чего не было.

Коридор второго уровня заканчивался двойной дверью — не стальной, как шлюзовые, а из армированного пластика, мутно-белого, с прорезями для вентиляции и табличкой, отпечатанной на 3D-принтере из переработанного алюминия. Буквы — крупные, рубленые, без засечек:

ЛАЗАРЕТ

Александр толкнул дверь. Она подалась легко — пневматика здесь была настроена мягче, чем на остальных уровнях. Чтобы не будить тех, кому удалось заснуть.

Из-за двери пахло теплом — влажным, тяжёлым, с привкусом йода и чего-то сладковатого. Тёплый воздух лазарета был плотнее коридорного, как будто по ту сторону порога существовало иное атмосферное давление — не физическое, но ощутимое каждой клеткой кожи. Давление боли. Давление тел, которые перестали быть функциями и стали — пациентами. Но только на время: каждый час их нетрудоспособности — это час, вычтенный из ресурса Анклава, и лазарет существовал не для исцеления в старом, человеческом смысле слова, а для «возврата функции». Починить. Вернуть в строй. Как чинят сломанный насос — не потому, что любят насос, а потому, что без него система встанет.

Александр переступил порог.

Анна — за ним. На полшага позади.

Лазарет был другим миром.

Не в метафорическом смысле, а в физическом. Воздух по эту сторону мутно-белой двери отличался от коридорного, как артериальная кровь отличается от венозной: те же молекулы, тот же состав, но «назначение» — иное. Там, за дверью, воздух служил для того, чтобы восемьдесят четыре функции продолжали дышать. Здесь — для того, чтобы сломанные функции чинились быстрее. Температура: двадцать два градуса — на два выше, чем на жилых уровнях, потому что раненое тело тратит на терморегуляцию ресурсы, которые следует направить на заживление. Влажность: сорок пять процентов — выше, чем в коридорах, ниже, чем на гидропонных фермах, потому что пересушенные слизистые — ворота для инфекции, а избыточная влага — инкубатор для грибка. Каждый параметр — не прихоть, а уравнение, в котором переменной была человеческая жизнь, а константой — ресурс Анклава.

Помещение лазарета представляло собой вытянутый прямоугольник — двенадцать метров в длину, шесть в ширину, — разделённый тонкими перегородками из армированного пластика на три неравных отсека. Первый — приёмный: два стола, стул, шкаф с медицинскими картами, дозиметр на стене, раковина с педальным краном, над которой висела выцветшая инструкция по мытью рук — восемь шагов, проиллюстрированных схематичными ладонями, нарисованными от руки. Второй — палатный: восемь коек, расставленных в два ряда по четыре, каждая — стальная рама на болтах, матрас толщиной в ладонь, подушка, простыня. Третий — процедурный, отделённый от палатного занавесом из бункерной дерюги, которую стирали в хлорном растворе так часто, что ткань приобрела цвет старого пепла. За занавесом стояли автоклав, хирургический стол, стеллаж с инструментами и тот особенный запах — запах стерильности, который не был отсутствием запаха, а был его противоположностью: агрессивной, наступательной чистотой, от которой першило в горле и слезились глаза.

Свет здесь падал иначе — рассеянно, мягко, словно профильтрованный через матовое стекло. Бестеновой, равномерный, спроектированный так, чтобы хирург видел каждый капилляр, а пациент не шурился, лёжа на спине. Но равномерность эта была обманчивой: в углах, у пола, где стены смыкались с резиновым покрытием, свет не добирался до самого стыка, и там копилась тень — узкие, как щели, тёмные, как запёкшаяся кровь. Тени, в которых, казалось, могла ютиться та же плесень, что не давала покоя гидропонным фермам, — только здесь, в лазарете, она была бы не просто врагом, а «предательством», потому что стерильность была единственным оружием, которым медицина бункера ещё могла воевать.

Из восьми коек заняты были шесть. Лазарет Анклава редко пустовал — восемьдесят четыре человека, живущих в условиях хронического дефицита витаминов, минералов и солнечного света, изнашивались быстрее, чем оборудование, которое они обслуживали. Александр окинул палату тем самым рассредоточенным взглядом, который вбирал всё, не задерживаясь ни на чём, — и в первые две секунды считал больше, чем иной наблюдатель за час.

Первая койка — мужчина, номер не виден, лежит на боку, лицом к стене. Левая рука забинтована от запястья до локтя — ожог, судя по характеру повязки: бинт пропитан чем-то желтоватым, мазь на основе водорослевого экстракта. Термический, скорее всего: ожоги от сварочных работ или от контакта с перегретыми трубами на технических уровнях — обычное дело, рутинная травма, такая же часть быта Анклава. Дыхание ровное, глубокое — спит. Вторая — женщина средних лет, полусидит, подушка сложена вдвое за спиной. Глаза открыты, но взгляд — пустой, обращённый внутрь. На висках блестит испарина. Правая рука прижата к виску — характерный жест: головная боль. Карта на спинке койки: сотрясение головного мозга. Третья — подросток, мальчик лет тринадцати-четырнадцати, с шиной на правой голени: перелом малоберцовой кости, обычная история для нижних уровней, где ступени были крутыми, а освещение — скудным. Рядом с его койкой, на табурете, притулился контейнер с недоеденной порцией спирулиновой каши — зелёная масса застыла в алюминиевой миске коркой, похожей на мох. Четвёртая — пожилая женщина, спавшая на спине, с маской на лице: ингаляция водорослевого пара, лечение хронического бронхита, развившегося от десятилетий вдыхания микрочастиц бетонной пыли. Пятая — мужчина с забинтованным торсом: ушиб рёбер, судя по тому, как осторожно он дышал, стараясь не раздвигать грудную клетку шире необходимого.

И шестая. Номер восемьдесят. Денис Маратович. Педагог, ученик Корнея Ивановича, молодой человек двадцати лет, который несколько циклов назад стоял на ногах, а теперь лежал на спине, неподвижный, как экспонат.

Голова обмотана бинтом — тугим, многослойным, словно кокон. Правая рука вытянута вдоль тела ладонью вверх, и в сгиб локтя впиалась игла капельницы, зафиксированная полоской пластыря — лейкопластыря, нарезанного из старых запасов, каждый сантиметр которого был на учёте. По прозрачной трубке медленно, капля за каплей, стекала жидкость — бесцветная, как вода.

— Номер двадцать восемь, — произнёс Александр негромко, не оборачиваясь. Он знал, что Анна стоит за его правым плечом — чувствовал её присутствие по едва уловимому перемещению воздуха, по лёгкому теплу, исходившему от её тела в прохладном пространстве лазарета. — Вещи потерпевшего. Одежда, обувь, содержимое карманов. Всё, что было при нём в момент обнаружения. Доложишь, когда закончишь.

— Понятно, — ответила она. Коротко. Без вопросов. Развернулась и зашагала к приёмному отсеку, где, по протоколу, личные вещи пациентов хранились в пронумерованных контейнерах — пластиковых ящиках из-под медикаментов, переживших три десятилетия ежедневного использования и обретших специфическую изношенность. Комбинезон — стандартный, бесформенный, рассчитанный на среднего мужчину среднего роста, — на ней сидел иначе, чем на остальных: грубая ткань натягивалась на груди, обрисовывала талию и линию бёдер, сдаваясь её телу там, где на других просто висела мешком. Тело, которое гидропоника и тилапия не смогли лишить ни силы, ни формы, — словно созданное вопреки всей арифметике дефицита.

Александр подошёл к дежурной медсестре, сидевшей за столом в приёмном отсеке. Номер шестьдесят два — он прочитал цифры на браслете раньше, чем разглядел лицо. Женщина лет сорока — по бункерным меркам, уже глубоко зрелая, — с тёмными волосами, собранными в тугий пучок, и с тем выражением хронической сосредоточенности, которое отличало медперсонал от всех прочих: не усталость, не тревога, а постоянная «готовность» — готовность к тому, что следующая минута принесёт кровь, крик или смерть.

— Номер шестьдесят два, — произнёс Александр, останавливаясь перед столом. — Я веду расследование по факту нападения на номер восемьдесят. Мне необходимо ознакомиться с состоянием потерпевшего и обстоятельствами его поступления.

Медсестра подняла на него глаза — карие, сухие, без блеска. Глаза, которые видели слишком много ран, чтобы реагировать на ещё одну. Кивнула. Потянулась к стопке карт на углу стола — аккуратно сложенных, подписанных от руки, каждая — несколько листов, скреплён-

ных проволочной скобой. Бумага — пожелтевшая, с мелким зерном: бункерного производства, из переработанной целлюлозы картофельных отходов, спрессованной и высушенной. Она годилась для записей, но не для долгого хранения — влага съедала её за три-четыре года, и карты приходилось переписывать, копируя данные с ветхих листов на чуть менее ветхие.

— Номер восемьдесят, — произнесла она, раскрыв карту. Голос — ровный, протокольный, с той профессиональной монотонностью, за которой прячется привычка к чужой боли. — Поступил в цикл тридцать три тысячи девяносто пять. Закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана затылочной области. Субдуральная гематома, объём — тридцать — тридцать пять миллилитров по клинической оценке. Стабилизирован. В сознание не приходил. Введён маннитол, двадцатипроцентный раствор, внутривенно капельно. Начальная доза — ноль семьдесят пять грамм на килограмм массы тела, далее — поддерживающая, ноль двадцать пять каждый цикл. Цель — снижение внутричерепного давления.

Маннитол.

Александр знал, что это такое. Не из медицинского образования — из общей эрудиции, которую наставник насаждал в нём с упорством садовника, выращивающего дерево в скальной расщелине. «Следователь, который не понимает, чем занимается каждый специалист в Анклаве, — не следователь, а слепец с удостоверением», — говорил он. И Александр учился. Учил химию — чтобы понимать, что синтезируют химики и чем это может быть использовано не по назначению. Учил медицину — чтобы отличать симптом от симуляции. Учил инженерию — чтобы знать, где в трубах бункера есть слабые места, через которые можно подслушать, спрятать, пронести.

Маннитол — $C_6H_{14}O_6$, шестиатомный сахарный спирт, осмотический диуретик. Молекула, вытягивающая воду из тканей мозга в кровоток за счёт осмотического градиента. Простая физика: раствор с более высокой осмолярностью притягивает воду из раствора с более низкой. Мозг отекает — маннитол перетаскивает жидкость из-под черепной коробки в сосуды, давление падает, мозг получает шанс. Золотой стандарт нейрореанимации, описанный в каждом учебнике, который Анклав сумел спасти из прошлого мира.

Но учебники описывали маннитол фабричный — кристально чистый, произведённый на заводах с многоступенчатым контролем качества. Здесь, в Анклаве, маннитол был «самодельным». Как всё остальное.

Процесс его получения Александр знал в деталях — не потому, что увлекался фармацевтикой, а потому, что однажды, два года назад, расследовал один случай: химик-стажёр ошибся в дозировке катализатора, и партия препарата оказалась загрязнена сорбитолом — безвредным, но бесполезным изомером, из-за которого двое пациентов не получили нужного лечения вовремя. Александр запомнил «технологию».

Всё начиналось с картофеля. Шесть тонн в год — основа рациона, основа фармацевтики, основа жизни. Часть урожая — клубни, непригодные для еды: слишком мелкие, подгнившие, повреждённые при сборе — отправлялась к химикам на пятый уровень. Там их промывали в минимальном количестве воды, измельчали, заливали слабым раствором серной кислоты и нагревали до восьмидесяти градусов. Крахмал гидролизировался — длинные цепочки полисахаридов распадались на мономеры: глюкозу и фруктозу. Сладкий, мутноватый сироп, пахнущий варёной землёй и кислотой. Его фильтровали — через несколько слоёв стекловолна, пропитанного активированным углём, — и получали раствор сахаров: десять-двадцать процентов от исходной массы.

Затем — каталитическое гидрирование. Фруктоза, в присутствии никелевого катализатора Ренея — порошка, приготовленного из никелевых отходов технических систем, выщелоченного в щёлочи до пористой, губчатой структуры, — при ста двадцати — ста пятидесяти градусах и давлении в пятьдесят-сто атмосфер водорода (водород получали электролизом воды

от гидротурбин — замкнутый цикл, как всё в Анклаве) превращалась в маннитол и сорбитол. Две молекулы-близнеца: одна и та же формула, разное расположение атомов.

Разделить их можно было кристаллизацией: маннитол хуже растворялся в воде, а потому при охлаждении выпадал первым — белые игольчатые кристаллы на дне стеклянной колбы, похожие на изморозь на внутренней стороне оконного стекла, если бы в бункере были окна. Химики собирали кристаллы, сушили, перетирали в порошок, растворяли в дистиллированной воде до двадцатипроцентной концентрации, стерилизовали в автоклаве и разливали по ампулам. Пять — десять килограммов в месяц. Запас, которого хватало, — но впритык. Как и всего остального.

Выход маннитола составлял пятьдесят-семьдесят процентов от теоретически возможного — остальное уходило в сорбитол и потери. Чистота — девяносто два, иногда девяносто пять процентов: приемлемо, но далеко от фармацевтического идеала. Каждая партия проверялась вручную — химик измерял осмолярность рефрактометром, собранным из линз старых очков и алюминиевого корпуса. Данные записывались в журнал. Журнал хранился у главного врача.

— Вы сказали — он не приходил в сознание, — уточнил Александр, возвращая внимание к медсестре. — Ни разу?

— Ни разу, — подтвердила она. — Зрачки: левый — четыре миллиметра, правый — три, реакция на свет — вялая. Шкала комы Глазго — семь баллов. Стабильно.

Семь баллов. Середина шкалы, которая начиналась с трёх — глубокая кома, смерть мозга — и заканчивалась на пятнадцати — полное сознание. Семь означало: есть, но далеко. Как свет звёзд, которых никто в бункере никогда не видел, — есть, но недосыгаем.

Александр кивнул. Сделал шаг в сторону палатного отсека, но остановился. Его взгляд зацепился за женщину на второй койке. Та самая, с рукой, прижатой к виску. Испарина. Нахмуренные брови. Глаза закрыты — зажмурены, как у человека, пытающегося удержать что-то внутри головы, что рвётся наружу.

Он повернулся обратно к шестидесяти второй.

— Пациентка на второй койке. Диагноз?

Медсестра бросила взгляд в сторону палаты. Нахмурилась — еле заметно, одной морщиной между бровями.

— Номер сорок один. Сварщик. Сотрясение головного мозга, лёгкой степени. Ушиб теменной области при работе на техническом этаже. Поступила шесть циклов назад. На маннитолу — ноль двадцать пять грамм на килограмм каждый цикл. Но... — она помедлила. Пауза была короткой — секунда, может быть, две, — но Александр заметил. В паузе прятался не секрет, а растерянность. Медицинская. Профессиональная. Та, которую медработники не любили показывать, потому что растерянность врача — это трещина в стене, через которую просачивается самый ядовитый газ: «неуверенность».

— Но? — повторил Александр.

— Жалуются на головную боль. Нарастающую. Уже второй цикл. Маннитол должен снимать внутричерепное давление — это его прямая функция. Но боль не уходит. Мы увеличили дозу. Без эффекта. И она не единственная — номер двадцать девять, охранник, с аналогичной травмой, поступил четыре дня назад, и у него та же картина. Мы даже запросили у химиков проверку текущей партии. Чистота — девяносто три процента, осмолярность — в пределах нормы.

Головная боль на маннитолу. Александр отметил это мимоходом — как отмечал всё: царапину на стене, тон голоса, задержку взгляда. Не потому, что видел в этом улику, — а потому, что «не» отмечать не умел. Мозг следователя работал как система фильтрации бункера: пропускал через себя всё, задерживая частицы, которые могли оказаться значимыми, — даже если в момент прохождения казались безобидной пылью. Аномалия в эффективности

препарата — это вопрос к химикам, не к следователю. Но аномалия — это «всегда» вопрос. Ко всем.

— Обстоятельства поступления номера восемьдесят, — произнёс он, возвращая разговор в русло дела. — Кто доставил? Кто присутствовал?

Шестьдесят вторая перелистнула карту.

— Доставлен двумя охранниками, номера тридцать два и тридцать шесть. Состояние при поступлении — без сознания, обильное кровотечение из раневого канала. Первичную обработку проводила я совместно с номером шестьдесят. — Она провела пальцем по строке. — Уведомили хирурга, номер двадцать. Он осмотрел, назначил маннитол, наложил повязку. Параллельно — уведомили партнёршу потерпевшего, номер пятьдесят девять. Она — тоже медперсонал, младшая медсестра.

— И?

— Пришла. Быстро. Очень переживала. Помогала — готовила инструменты, подавала перевязочный материал. Профессионально, грамотно. Только выглядела вымотанной — у неё перед этим был полный рабочий цикл, а тут свободный, ей бы отдыхать. Но она настояла. Через треть цикла мы убедили её уйти отдохнуть. Она еле держалась на ногах. Главный врач распорядился выделить для неё дополнительный цикл отдыха.

Медсестра говорила ровно, без пауз, без акцентов — обычный отчёт о событиях, которые в лазарете повторялись с регулярностью сигнала смены цикла: поступление, обработка, терапия, уведомление родственников. Рутинная. Ничего необычного. Партнёрша пришла помочь — естественная реакция, тем более если партнёрша сама медик. Помогала грамотно — а как иначе, если её этому учили с детства. Устала — конечно, устала, она отработала полную смену.

Александр слушал. Каждое слово ложилось в ту невидимую карту, которую он строил в голове. Ровно, аккуратно, в отведённые ячейки. Пока — ничего, что не ложилось бы.

— Благодарю, номер шестьдесят два, — сказал он и отошёл от стола.

Он медленно прошёлся вдоль коек — три шага до первой, три до второй. У второй остановился. Посмотрел на карту, висевшую на спинке — маннитол, стандартная дозировка, последние введения с отметками медсестёр. Перевёл взгляд на пациентку. Испарина, сжатые челюсти, побелевшие пальцы, вдавленные в висок.

Что-то не работало. Маннитол проверен. Дозировка — по протоколу. А головная боль не уходила. Может быть — индивидуальная реакция. Может быть — сопутствующая патология, которую не выявили. Может быть — что-то совсем иное, лежащее за пределами его компетенции.

Александр сделал мысленную пометку: «аномалия маннитола — уточнить у химиков. Потом». И пошёл дальше — к шестой койке. К номеру восемьдесят.

Денис Маратович лежал неподвижно. Лицо — бледное, восковое, с тем специфическим безжизненным оттенком, который отличает бессознательного человека от спящего: у спящего лицо расслаблено, мышцы мягкие, — у потерявшего сознание лицо не расслаблено, а «отключено», как приборная панель, с которой сняли питание. Повязка на голове — белая, с едва заметным коричневатым пятном на затылке, там, где бинт впитал сукровицу из раны. Дыхание — поверхностное, ритмичное, с частотой шестнадцать-восемнадцать в минуту. Грудная клетка поднималась и опускалась с механической равномерностью — не биологической, а машинной, как поршень, которому безразлично, движет он цилиндр или нет.

Капельница продолжала работать. Капля — пауза — капля — пауза. Бесцветная жидкость стекала по трубке, проходила через зажим-регулятор и исчезала в вене, унося с собой молекулы маннитола в кровоток, где они, повинаясь осмотическому градиенту, должны были вытягивать воду из отёчного мозга, как губка вытягивает влагу из бетона. Должны были.

Александр постоял над ним секунду. Две. Три.

Потом отвернулся.

В этот момент из приёмного отсека появилась Анна.

Она шла быстро — не бежала, но её шаг был на четверть длиннее обычного, и Александр, уловивший разницу прежде, чем увидел её лицо, понял: она что-то нашла. Или — думала, что нашла. Глаза, обычно цепкие и сосредоточенные, чуть блестели — тот самый огонь, который Александр иногда замечал в ней: не азарт, а «энергия», электрический разряд любопытства, от которого выпрямлялась спина и расправлялись плечи. Лицо покраснелось от быстрого движения — кровь прилила к скулам, и на мгновение из-под следователя-стажёра, из-под номера двадцать восемь, из-под протокола и субординации проступила девушка — с яркими зелёными глазами, с горячим румянцем на скулах, с тем опасным, ненужным, неучтённым красноречием молодого, сильного тела, — тела, не спрашивавшего разрешения у Анклава быть таким, каким было.

В правой руке она держала раскрытый блокнот. В левой — нечто мелкое, зажатое между большим и указательным пальцами.

— Двадцать семь, — произнесла она, останавливаясь в двух шагах от него. — Осмотр вещей потерпевшего завершён. Докладываю.

Она перевернула страницу блокнота. Александр видел: записи — плотные, без пробелов, каждая строка использована полностью. Экономия бумаги, доведённая до искусства.

— Комбинезон — стандартный, серый, размер «средний». Ткань — без повреждений, за исключением бурого пятна на воротнике и правом плече. Кровь — предположительно потерпевшего, растёкшаяся из раны при падении. Ботинки — стандартные, размер «средний», подошва — без посторонних следов. Носки. Нижнее бельё. Без особенностей.

Она перелистнула.

— Содержимое карманов. Левый нагрудный: сложенный вдвое лист бумаги с конспектом — формулы, схемы, судя по почерку и содержанию — подготовка к занятию по электродинамике. Правый нагрудный: пуст. Левый боковой: карандаш, обточенный до трёх сантиметров. Правый боковой...

Она остановилась. Подняла левую руку — и Александр увидел то, что было зажато между её пальцами.

Осколок.

Маленький. Неправильной формы. Грязно-белого цвета — не серого, как хибинский гранит, и не прозрачного, как слюда. Белого. С одной стороны — гладкий, почти глянцевый, как если бы его полировали. С другой — шероховатый, с неровным сколом, острыми краями, как у свежего излома. Размером с ноготь большого пальца. Лёгкий — Александр понял это, ещё не коснувшись его, по тому, как Анна держала осколок: едва сжимая, почти на весу, — тяжёлый предмет она бы держала плотнее.

— Правый боковой карман, — произнесла Анна. — Вот это. Единственный нестандартный предмет. Я проверила дважды — больше ничего.

Александр протянул руку. Анна вложила осколок ему в ладонь — осторожно, двумя пальцами, как передают хрупкое.

Он поднёс его к лицу. Десять сантиметров от глаз — расстояние, на котором он различал текстуру. Белый, матовый. Не минерал — минералы Хибин были серыми, с прожилками полевого шпата и вкраплениями апатита. Не бетон — бетон был зернистым, с видимыми частицами щебня. Не металл — металл весил больше и имел иной характер поверхности. Материал был «пористым» — мелкие открытые поры, как у пемзы, но более мелкие, более упорядоченные. И — запах. Слабый, почти неуловимый, но Александр уловил. Сухой. Меловой. Как запах побелки. Как запах...

Гипс?

Он повернул осколок. Гладкая сторона — отполированная, вероятно, от длительного контакта с какой-то поверхностью. Скол — свежий, с чёткими, рваными краями, как если бы

фрагмент был отломан от чего-то большего. Недавно. Не обкатан, не обтёрт, не сглажен временем.

«Гипс. Откуда в бункере гипс?»

Гипс — сульфат кальция, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Материал, которого в Анклаве не производили в промышленных масштабах. Но — использовали. В медицине: гипсовые повязки для фиксации переломов, хотя чаще применяли алюминиевые шины, потому что гипс требовал воды, а вода требовалась для питья. В лаборатории: формы для отливки мелких деталей. И — Александр вспомнил об этом мимоходом, как вспоминают о вещи, виденной краем глаза и не удостоенной внимания, — в декоративных предметах. Немногочисленных. Штучных. Тех самых «артефактах прежнего мира», которые кое-кто из обитателей Анклава хранил с фанатичной нежностью — как Корней Иванович хранил свой пиджак и галстук, как наставник хранил «Отверженных».

Гипсовый фрагмент с гладкой стороной и свежим сколом. В кармане педагога, которого нашли с пробитой головой.

Это «могло» быть ничем. Случайный обломок, подобранный на полу, засунутый в карман машинально — люди в Анклаве подбирали всё, что могло пригодиться: винтик, кусок проволоки, обрезок кабеля. Привычка, выросшая из дефицита, как плесень вырастает из влаги.

Но это «могло» быть и чем-то.

— Зафиксируй, — сказал Александр, опуская осколок в нагрудный карман комбинезона. Левый. — Фрагмент неизвестного материала, предположительно гипс. Обнаружен в правом боковом кармане комбинезона потерпевшего. Одна сторона — гладкая, другая — свежий скол. Происхождение — не установлено. Сохранён как вещественное доказательство до идентификации.

Анна записала. Карандаш — быстрый, точный, почти бесшумный.

— Конспект, — произнёс Александр. — Электродинамика. Номер восемьдесят — педагог. Конспект в кармане — нормально. Ничего необычного.

Анна кивнула.

И в этот момент — тишину палаты разрезал голос.

Не крик — «команда». Резкий, отрывистый, как стук металла о металл. Женский — но без паники, без дрожи, без тех истерических обертонов, которые порождает страх. Голос медсестры, обученной с детства реагировать на чужую боль не ужасом, а действием:

— Номер двадцать! Шестая койка! Быстро!

Александр среагировал раньше, чем осознал.

Тело — обученное, натренированное, привыкшее к внезапности, — развернулось на носке правой ноги и рванулось к палатному отсеку. Четыре шага. Три. Два. Он огибал угол перегородки, когда навстречу ему из коридора уже влетел хирург, номер двадцать — лысеющий мужчина с тяжёлой нижней челюстью и руками, которые двигались отдельно от тела, словно принадлежали другому организму: быстрее, точнее, увереннее. Руки хирурга жили в ином временном потоке — там, где секунды были длиннее, а пальцы — быстрее, чем мысль.

Койка номер шесть. Денис Маратович.

То, что Александр увидел, заставило его остановиться. Не от страха — от понимания. Понимания, что перед ним — не стабильный пациент, а организм, теряющий контроль.

Тело на койке уже не лежало неподвижно. Оно «двигалось» — не осознанно, не целенаправленно, а рефлекторно, судорожно, как двигается механизм, в котором заклинило шестерню. Голова запрокинулась назад — подбородок задрался к потолку, обнажив шею, на которой вздулись жилы, толстые, напряжённые, как кабели под нагрузкой. Руки — обе — вытянулись вдоль тела и окаменели, пальцы растопырились и согнулись внутрь, образуя когти — декортикационная поза, насколько знал Александр, знак того, что давление внутри черепа нарастало, сдавливая ствол мозга, как домкрат сдавливает балку. Глаза — закрытые, но под

веками — движение: быстрое, хаотичное метание зрачков, как у человека, видящего кошмар, от которого невозможно проснуться.

Медсестра — та, что подала сигнал, номер шестьдесят, — уже действовала. Одна рука удерживала голову потерпевшего, не давая ей биться о стальную раму, другая — зажимала трубку капельницы, перекрывая поток. Движения — точные, уверенные, отработанные сотнями циклов практики. Ни секунды промедления, ни грамма лишней суеты.

Хирург уже был у койки. Руки — те самые, живущие в другом времени, — действовали: одна подняла веко пациента, другая — направила узкий луч фонарика в зрачок. Левый зрачок — расширен до шести миллиметров. Правый — три. Анизокория. Зрачки, которые ещё час назад были почти одинаковыми — четыре и три, — разошлись, как берега трещины, пересекающей бетонную стену.

— Пульс? — бросил хирург, не оборачиваясь.

Шестьдесят вторая — подоспевшая из приёмного отсека — прижала пальцы к запястью потерпевшего. Три секунды. Пять.

— Сорок восемь, — произнесла она. Голос — ровный, профессиональный, но с тем едва заметным напряжением, которое выдавало: она понимала, что означает эта цифра. — Брадикардия. Наполнение слабое.

Сорок восемь ударов в минуту. Норма — шестьдесят — восемьдесят. Пульс замедлялся. И это — в сочетании с анизокорией, с декортикационной позой, с запрокинутой головой — складывалось в клиническую картину, которую хирург, по всей видимости, распознал мгновенно, потому что его лицо — и без того суровое, каменное — стало на оттенок серее.

— Рефлекс Кушинга, — произнёс он коротко. — Внутричерепная гипертензия. Давление растёт. Быстро.

Рефлекс Кушинга — последний сигнал тревоги, который посылает мозг перед тем, как сдаться. Триада: брадикардия, гипертензия, нерегулярное дыхание. Организм, пытаясь компенсировать нарастающее давление внутри черепа, замедлял сердце и поднимал артериальное давление, чтобы протолкнуть кровь через сдавленные сосуды. Как насос, увеличивающий давление, когда труба забита. И точно так же, как насос, — он мог сгореть.

Дыхание потерпевшего изменилось — Александр услышал это раньше, чем увидел. Ритм сбился: вместо ровных вдохов-выдохов — серия частых, поверхностных вдохов, затем — пауза, долгая, пугающая, как провал в мелодии, — и снова серия. Дыхание Чейна-Стокса — волнообразное, нарастающее и затухающее, как приливы и отливы в океане.

— Перекрыть капельницу, — хирург бросал слова, как бросают инструменты на операционный стол: коротко, точно, каждое — на своё место. — Он ухудшается на текущей терапии. Мешок Амбу. Гипервентиляция — двадцать вдохов в минуту. Изголовье — тридцать градусов. Пропофол — два миллиграмма на килограмм, болюсно, снизить потребление мозгом кислорода. И готовьте набор для трепанации — если не ответит за десять минут, идём на декомпрессию.

Медсёстры задвигались — синхронно, слаженно, как пальцы одной руки. Шестидесятая — к стойке с капельницей: зажим повернулся, поток маннитола остановился, трубка обмякла. Шестьдесят вторая — к шкафу: мешок Амбу — чёрный, резиновый, потрескавшийся по швам, один из трёх, сохранившихся с эвакуации, — лёг ей в руки привычной тяжестью. Ампула пропофола — из дальнего ряда, где хранились препараты, синтезировать которые бункер не мог и потому расходовал с бережностью ювелира, отмеряющего золотую пыль. Ни вопросов, ни переспросов, ни мгновения неуверенности. Механизм. Отлаженный, привыкший к авариям, привыкший к тому, что каждая минута — это минута, отнятая у смерти, которая здесь не стояла за дверью, а сидела на каждой койке, как невидимый пациент, ожидающий своей очереди.

Александр стоял в двух метрах от койки, не двигаясь, не мешая. Наблюдал. Анализировал.

Внутричерепная гипертензия. Внезапная, резкая, на фоне маннитоловой терапии. Александр не был врачом — он не мог оценить, насколько это ожидаемо при субдуральной гематоме в тридцать пять миллилитров. Может быть, гематома продолжала увеличиваться — продолженное кровотечение, медленное, как ржавчина, подъедающая трубу изнутри. Может быть, отёк мозга нарастал вопреки маннитолу — такое случалось, он читал об этом. Может быть — что-то третье, чего он не знал и не мог знать, потому что медицина — это не его территория.

Но «странность» была. И странность состояла не в самом ухудшении — ухудшение при ЧМТ было обычным делом, мозг был капризным органом, не прощавшим ошибок. Странность состояла в «когда». Четыре цикла стабильности — и вдруг, разом, как обвал в штреке: декоративация, рефлекс Кушинга, анизокория. Переход от семи баллов по Глазго к... чему? К пяти? К четырём? К той границе, за которой мозг переставал быть мозгом и становился массой серого вещества, заключённой в костяной ящик?

Он зафиксировал вопрос. Отложил. Добавил к другим — к аномалии маннитола, к головным болям, к гипсовому осколку, к Корнею Ивановичу, не спросившему о здоровье ученика. Все вопросы лежали рядом — не связанные между собой, разрозненные, как детали механизма, рассыпанные по столу. Пока — просто детали. Может быть — от разных механизмов. Может быть — от одного. Узнать можно было только одним способом: продолжать собирать.

Он перевёл взгляд на Анну.

Она стояла в трёх шагах от койки. Неподвижная. Блокнот — по-прежнему в правой руке, но карандаш — опущен, кончиком вниз, забытый. Лицо — побелевшее. Румянец, ещё минуту назад разгоравшийся на скулах, — схлынул, как вода из опрокинутого сосуда, оставив после себя восковую бледность, на фоне которой зелёные глаза казались неестественно яркими, почти фосфоресцирующими — как те пингвины перья из рукописи Корнея Ивановича, светившиеся от цезия. Зрачки расширены. Губы сжаты — тонкая белая линия, прочерченная поперёк лица, как шов.

Она «смотрела» на Дениса Маратовича — на запрокинутую голову, на скрюченные пальцы, на жилы, вздувшиеся на шее, — и Александр видел: она не здесь. Тоническая иммобилизация — замирание, древнейшая реакция нервной системы на угрозу, когда ни бежать, ни бороться нет возможности. Так замирает животное перед хищником. Так замирает человек, впервые увидевший чужую агонию — не на странице учебника, не в рассказе наставника, а живую, в реальном времени, с запахом, со звуком, с той невыносимой подлинностью, от которой нельзя отвернуться.

Она была лучшей в своём потоке. Физически крепкой, интеллектуально одарённой. Но ей было шестнадцать. И от зрелища чужого умирания не защищали ни мышцы, ни ум, ни протокол. От этого защищал только опыт. А опыта у неё ещё не было.

Александр шагнул к ней. Положил руку на плечо — коротко, твёрдо, без нежности. Жест не утешения, а команды. Как нажатие кнопки, перезапускающей зависшую систему.

— Номер двадцать восемь. Со мной.

Она вздрогнула. Моргнула — раз, два, три, — как человек, вынырнувший из глубины на свет. Зрачки сузились. Краска медленно, неравномерно вернулась на лицо — пятнами, как возвращается жизнь на обожжённую кожу. Она перевела взгляд на Александра — и он увидел в её глазах не страх, а его «послевкусие»: горькое, жгучее, как остаток хлора на слизистой.

— Я... — начала она и осеклась. Голос дрогнул. Одна вибрация — на полтона выше обычного, — и она это услышала сама. Стиснула зубы. Выпрямила спину. Подбородок — вверх. Оборона. Компенсация. Подросток, притворяющийся взрослым, — как все подростки во все времена.

Александр развернул её за плечо — мягко, но неуклонно — и повёл к выходу из палатного отсека. Мимо перегородки, мимо стола шестьдесят второй, мимо контейнера с вещами,

мимо раковины с педальным краном и инструкцией по мытью рук. В приёмный отсек, где было чуть тише, чуть прохладнее, чуть дальше от запрокинутой головы и скрюченных пальцев.

— Мы не закончили, — сказала Анна. Голос — уже ровнее, но с той упрямой жёсткостью, которая была не силой, а её имитацией. — Мы не осмотрели самого потерпевшего. Его тело. Руки. Ногти. Врачи могли что-то упустить. Протокол...

— Протокол, — перебил Александр, и в его голосе, обычно стерильном от эмоций, как воздух лазарета от бактерий, мелькнуло нечто — не мягкость, нет, но... «температура». На полградуса теплее обычного. — Протокол предписывает следователю поддерживать работоспособность. Тем более, что следующий цикл — День Обета Верности. Праздник, утверждённый Советом. Мы обязаны присутствовать.

— Праздник, — повторила Анна, и в её голосе «праздник» прозвучало так, как звучит слово «бесполезно» в устах человека, который ещё не научился признавать бесполезность.

— Праздник, — подтвердил Александр. — И передышка. Ты не спала три цикла. Расследование не окончено. Но ошибки, совершённые от усталости, — необратимы. Потерпевший — в руках врачей. Они стабилизируют его. А мы — мы продолжим, когда будем в состоянии видеть. Не смотреть — «видеть».

Он помолчал. Посмотрел ей в глаза — прямо, без уклонения, без той дистанции, которую обычно выдерживал. И произнёс — тише, чем обычно, но отчётливее:

— Иди к себе. Отдохни. Это приказ.

Анна смотрела на него секунду. Две. Три. Потом — кивнула. Один раз. Резко, как отрезала.

— Есть, — произнесла она. Развернулась и зашагала к двери лазарета. Спина — прямая. Плечи — развёрнуты. Шаг — упругий, энергичный, несмотря на усталость, несмотря на увиденное. Комбинезон натянулся на лопатках при развороте — короткое, мгновенное обозначение тела под тканью, плавная линия от плеча к пояснице, — и Анна исчезла за дверью, оставив после себя лёгкое движение воздуха и тишину.

Правая рука, обычно свободно висевшая вдоль тела, была сжата в кулак. Александр успел заметить — за мгновение до того, как дверь закрылась. Костяшки побелели. Ногти впились в ладонь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.